

ДЖЕНЕТ УИНТЕРСОН

СТРАСТЬ

*Перевод Е. Каца
под редакцией М. Немцова*

Jeanette Winterson
The Passion
Copyright © 1987 by Jeanette Winterson
Перевод © 2002, Е. А. Кац

Посвящается Пэт Каванах

Благодарю Дона и Рут Ренделл, предоставивших мне для работы кров, всех жителей Блумсбери, а особенно Лиз Колдер. Особая благодарность Филиппе Брюстер за терпение.

В гневе уплыв далеко от отцовского дома
И миновав по пути Симплегадские скалы,
Ныне живешь ты в земле, что зовется чужбиной.
Еврипид. «Медея»

ИМПЕРАТОР

Наполеон любил кур так страстно, что заставлял своих поваров готовить их день и ночь. Ну и кухня у него была: полно всевозможной птицы — еще холодные тушки висят на крючьях, другие медленно вращаются на вертеле, но большинство уже в отбросах, потому что Император занят.

Странно так подчиняться своему аппетиту.

Это стало моей первой обязанностью. Службу я начал шеевёртом, но прошло совсем немного времени, и я уже трюхал с блюдом курятины по глубокой грязи в его палатку. Я ему нравился, потому что был маленьким. Я лъщу себе. Он не испытывал неприязни ко мне. Императору не нравился никто, кроме Жозефины, а Жозефина нравилась ему примерно так же, как куры.

Императору не прислуживали те, кто был выше пяти футов двух дюймов. Слуг он держал маленьких, а лошадей — больших. Любимая лошадь была ростом в семнадцать ладоней¹; ее хвост можно было трижды обернуть вокруг туловища взрослого мужчины, а остатка хватило бы на парик его любовнице. У лошади был дурной глаз; в ее стойле валялось почти столько же мертвых конюхов, сколько кур бывало на кухонном столе. Тех, кого чудовище не убивало одним ударом копыта, выгонял хозяин: либо недостаточно блестяла конская шкура, либо удила зеленели.

— Новая власть должна изумлять и ошеломлять, — говорил Император. А еще он говорил что-то вроде «хлеба и зрелищ». Поэтому не удивительно, что нового конюха отыскивали в цирке, и головой он едва доставал лошади до холки. Чтобы почистить чудовище скребницей, ему приходилось вставать на стремянку с крепким основанием, но если нужно было его выгуливать, он высоко подпрыгивал и шлепался прямо на лоснящуюся спину; лошадь вставала на дыбы, фыркала, но сбросить его не могла, даже когда тыкалась мордой в землю, а задние ноги задирала к господу богу. Потом карлик и лошадь исчезали в туче пыли и скакали по много миль, карлик цеплялся за гриву и улюлюкал на своем забавном языке, которого никто из нас не понимал.

Зато сам он понимал все.

Этот человек рассмешил Императора, а лошадь не смогла его одолеть — поэтому он остался. Я

¹ Около 173 см. — *Прим. пер.*

тоже остался. И мы стали друзьями.

Однажды мы сидели в кухонной палатке, и вдруг колокольчик зазвонил так, будто за него дергал сам дьявол. Мы повскакали с мест: один бросился к вертелу, другой плюнул на серебро и зашоркал по нему вихоткой, а мне пришлось снова натянуть сапоги и приготовиться топтать по перемерзшим колеям. Карлик засмеялся и сказал, что с лошадью легче, чем с ее хозяином, но нам смешно не было.

Наконец курица — на блюде, вся в петрушке, которую повар выращивает в кивере убитого. Снаружи валит так, что я — будто фигурка в детском стеклянном шарике с метелью. Надо сильно щуриться, чтобы не потерять желтое пятно — палатку Наполеона. Никому больше не разрешается зажигать свет по ночам.

Топлива не хватает. Далеко не у всех в армии есть даже палатки.

Я вхожу, а он сидит в одиночестве и держит в руках глобус. Не замечает меня, крутит его, держа обеими руками так нежно, словно это женская грудь. Я негромко кашляю, он поднимает взгляд, и на лице у него — страх.

— Поставь и ступай.

— Сир, вы не хотите, чтобы я разрезал?

— Я управлюсь сам. Спокойной ночи.

Я знаю, о чем он. Теперь он вообще не просит меня разрезать птицу. Как только я уйду, он поднимет крышку, возьмет курицу и сунет в рот. Вот бы все лицо превратилось в пасть, чтобы сгрызть птицу целиком.

Если мне повезет, утром я найду косточку на счастье.

Тепла здесь нет, одни градусы холода. Я не помню, когда в последний раз мои колени ощущали огонь костра. Даже на кухне, в самом теплом месте любого лагеря, пламя слишком слабое, палатка не согревается, и медная утварь запотеваает. Я снимаю носки раз в неделю, чтобы обрезать ногти, и остальные называют меня щеголем. У нас белые лица, красные носы и синие пальцы.

Триколор.

Он делает это нарочно, чтобы его куры не портились.

Зима для него — кладовая.

Но это было много лет назад. В России.

В наши дни люди говорят о его деяниях так, словно все они были исполнены смысла. Словно даже его катастрофические ошибки произошли из невезения или высокомерия.

Чушь все это.

Слова «опустошение», «насилие», «бойня», «резня» и «голодная смерть» — всего лишь пароль, чтобы не дать выхода боли. Слова о войне, которые у всех на слуху...

Я рассказываю вам байки. Верьте мне.

Я хотел стать барабанщиком.

Офицер, набравший рекрутов, дал мне каштан и попросил раздавить пальцами. Я не смог. Он засмеялся и сказал, что барабанщику нужны сильные руки. Я протянул ладонь, на которой лежал каштан, и предложил ему сделать то же самое. Он побагровел и велел лейтенанту отправить меня на кухню. Повар смерил взглядом мое тощее тело и рассудил, что в рубрики мяса я не гожусь. Не для меня эта мешанина непонятного мяса, что нужно крошить в ежедневную солдатскую бурду. Мне повезло, сказал он: я буду работать у самого Бонапарта, и на одно короткое счастливое мгновение мне представилось, что я стану кондитером и буду воздвигать воздушные башни из крема и сахара. Мы пошли к маленькой палатке с двумя бесстрастными часовыми у полога.

— Личный склад Бонапарта, — сказал повар.

Все пространство от земли до полотняной крыши было забито грубо оструганными деревянными клетками размером примерно в квадратный фут. Их разделяли крошечные проходы, в которые с трудом мог протиснуться человек. В каждой клетке сидело по две-три птицы с обрезанными клювами и когтями — они смотрели сквозь прутья одинаково тусклым взглядом. Я видал на фермах всякое, но не был готов к такой тишине. Ни шороха. Их можно — нет, должно — было бы принять за мертвых, если б не глаза. Повар повернулся и сказал:

— Будешь ощипывать и сворачивать им шеи.

Я улизнул на пристань и, утомленный долгой дорогой, задремал на уже теплых в начале апреля камнях, мечтая о барабанах и красной солдатской форме. Меня разбудил сапог — твердый, блестящий, он знакомо вонял седлом. Я поднял голову и увидел, что сапог стоит у меня на животе — примерно так же на моей ладони лежал каштан. Не глядя на меня, офицер сказал:

— Теперь ты солдат. Еще успеешь поспать под открытым небом. Встать.

Он убрал ногу. Когда я с трудом поднялся, офицер больно пнул меня в зад и, по-прежнему глядя прямо перед собой, промолвил:

— Крепкая задница кое-чего стоит.

Вскоре я узнал о его наклонностях, но этот человек никогда не докучал мне. Думаю, его отпугивала куриная вонь.

Я с самого начала тосковал по дому. Мне не хватало матери. Не хватало холма, над которым встает солнце, освещая долину косыми лучами. Не хватало тех обыденных вещей, которые я прежде терпеть не мог. Не хватало расцветавших по весне одуванчиков и реки, лениво струившейся в берегах после нескольких месяцев дождя. Когда пришли набирать рекрутов, вся наша храбрая братия смеялась и говорила: настала пора увидеть мир, осточертели эти красные амбары и бесконечные отёлы. Мы подписались не сходя с места, а тот, кто не умел писать, весело приложил к бумаге намазанный краской палец.

Каждый год в конце зимы наша деревня устраивает костер. Мы сооружали его несколько недель. Высокий, как собор со святотатственным шпилем из сломанных капканов и вшивых соломенных тюфяков. Ожидалось море вина, танцы, объятия в темноте, а поскольку мы покидали деревню, нам позволили его зажечь. Едва село солнце, мы сунули в середину костра пять своих факелов. Когда я услышал треск занявшихся дров, а потом увидел пробившееся наружу пламя, у меня пересохло во рту. Захотелось стать святым, которого охраняет ангел, прыгнуть в огонь и увидеть, как сгорают мои грехи. Я хожу к исповеди, но там нет настоящего пыла. Дело нужно делать от души или не делать вовсе.

Мы — скучные люди, что в дни пира, что в дни тяжелой работы. Ничто нас не трогает, но мы очень хотим, чтобы нас тронуло что-то. Лежим по ночам без сна и мечтаем: вот расступится тьма и подарит нам видение. Дети пугают нас своей непосредственностью, однако мы делаем все, чтобы они выросли такими же, как мы. Пресными. Но в такие ночи у нас пылают лица и руки, и мы способны поверить в то, что завтра увидим ангелов в печных горшках, а посреди хорошо знакомых деревьев внезапно откроется неведомая нам тропа.

Когда мы устраивали костер в прошлый раз, сосед пытался разломать на доски свой дом. Орал, что это вонючая куча навоза, сушеного мяса и вшей. Жена хватала его за руки. Женщина сильная, привыкла сбивать масло и батрачить, но остановить его не могла. Сосед лупил по старым доскам кулаком, пока тот не превратился в голову освежеванного ягненка. А потом мужик всю ночь провалялся у костра, и к утру ветерок занес его остывающим пеплом. После сосед никогда об этом не говорил. И мы никогда об этом не говорили. На костры он больше не ходит.

Все-таки интересно, почему никто не попытался его остановить. Наверное, мы хотели, чтобы он сделал это — за всех нас. Сжег наши прежние жизни и дал возможность начать заново. Жить легко, просто и с открытым сердцем. Конечно, из этого ничего не вышло — так же, как не могло выйти у Бонапарта, который превратил в костер половину Европы.

А что еще нам оставалось?

Наступило утро, и мы ушли, неся узелки с хлебом и созревшим сыром. Женщины плакали, а мужчины хлопали нас по плечам и говорили, что солдатское житье для молодого парня — в самый раз. Одна маленькая девочка, всегда ходившая за мной по пятам, дернула меня за руку, насупилась и с тревогой спросила:

— Анри, ты будешь убивать людей?

Я присел рядом с ней на корточки.

— Нет, Луиза. Я буду убивать не людей, а врагов.

— А что такое враг?

— Тот, кто не на твоей стороне.

Мы совершали марш в Булонь, чтобы влиться в Великую Армию. Булонь, ничтожный, сонный порт с дюжиной борделей, внезапно стал форпостом Империи. Всего в двадцати милях в ясный день отсюда видна кичливая Англия. Про англичан мы знали все: они едят своих детей, не чтут Святую Деву и кончают с собой не моргнув глазом. Самоубийств у англичан — больше всех в Европе. Кюре мне так и сказал. Англичане с их говядиной Джона Буля² и пенистым пивом. Они уже сейчас стоят по пояс в воде у берегов Кента, мечтая утопить лучшую армию мира.

Мы должны вторгнуться в Англию.

Если понадобится, вся Франция встанет под ружье. Бонапарт схватит их страну, как губку, и выдавит все до капли.

Мы влюблены в него.

Хотя мои мечты бить в барабан и идти во главе гордой колонны не сбылись, голову в Булони я еще держу высоко — я знаю, что увижу самого Бонапарта. Он регулярно приезжает с грохотом из Тюильри и осматривает моря так же, как обычный человек проверяет свою бочку под водостоком. Карлик Домино говорит, что с ним рядом в ушах ревет ураган. Так считает мадам де Сталь, а она достаточно знаменита, чтобы всегда быть правой. Во Франции, правда, она больше не живет. Бонапарт выслал ее, чтобы не жаловалась на его цензуру спектаклей и подавление газет. Как-то то я купил ее книгу у бродячего торговца, к которому та попала от разорившегося аристократа. Понял я немного, зато позаимствовал оттуда слово «мыслитель» — так мне бы хотелось называть себя.

Домино смеется надо мной.

По ночам мне снятся одуванчики.

Повар снял курицу с крюка над головой и зачерпнул пригоршню фарша из медной миски.

Он улыбался.

— Парни, сегодня вечером идем в город. Клянусь, эта ночь запомнится вам надолго. — Он сунул фарш в птицу и провернул внутри руку, чтобы обмазать внутри тушку равномерно.

— Надеюсь, женщины у всех были?

Большинство покраснело, а некоторые хихикнули.

— У кого не было, тот узнает: на свете нет ничего слаще. А у кого были... что ж, сам Бонапарт не устает от одного вкуса.

И он показал нам курицу.

Я надеялся остаться в палатке с карманной Библией, которую мне на прощанье дала мать. Бога мать любила, говорила, что благодарит небеса за свою семью, а на самом деле ей не нужно ничего, кроме Господа и Пресвятой Девы. Я видел, как она спозаранку стояла на коленях — перед дойкой, перед овсянкой — и громко распевала хвалы Господу, которого никогда не видела. В нашей деревне все более или менее набожны, мы почитаем кюре, который пешком проходит семь миль, чтобы принести нам облатки, но подлинного пыла нет в наших сердцах.

Святой Павел говорил, что лучше жениться, чем гореть на костре, но мать учила меня, что лучше гореть на костре, чем жениться. Она хотела стать монахиней. Надеялась, что и я буду священником, скопила мне на образование, а мои друзья плели веревки и ходили за плугом.

Я не могу служить богу: сердце мое столь же пламенно, как у нее, пылать ответным огнем я не умею. Я громко взывал к Господу и Пресвятой Деве, но они мне в полный голос не отвечали, а шепот меня не интересует. Неужели божество не может ответить страстью на страсть?

Мать говорила, что может.

Так и надо было.

Семья моей матери не была богатой, но пользовалась уважением. ее спокойно воспитывали на музыке и пристойной литературе, за семейным столом никогда не говорили о политике — пусть даже бунтовщики ломились в дверь. Все ее родственники были монархистами. Когда матери исполнилось двенадцать, она сказала родителям, что хочет стать монахиней, но те не любили излишеств и

² Джон Буль — типичный англичанин, ставшее нарицательным имя простоватого фермера из памфлета Джона Арбетнота (1667—1735). — *Прим. ред.*

убедили дочь, что замужество подарит ей больше. Она росла втайне от родительских глаз. Казалась послушной и любящей, но изнутри ее пожирал голод, который вызвал бы у них отвращение, если бы отвращение само по себе не было излишеством. Она читала жития святых, знала наизусть почти всю Библию и верила, что в назначенный срок ей поможет сама Пресвятая Дева.

Назначенный срок наступил на ярмарке, когда ей исполнилось пятнадцать. Весь город отправился любоваться на неповоротливых волов и жалобно бляющих овец. Родители пребывали в праздничном настроении; в суতোлке отец показал пальцем на тучного, хорошо одетого господина с ребенком на плечах и сказал, что лучшего мужа ей не найти. Позже он должен был обедать с этим мужчиной и очень надеялся, что Жоржетта (моя мать) споет им после трапезы. Когда толпа стала гуще, мать сбежала в чем была, не прихватив ничего, кроме Библии, которую всегда носила с собой. Спряталась в возу с сеном, на догоравшем закате покинула город и медленно покатила по мирным просторам, пока воз не добрался до деревни, где потом родился я. Не испытывая и тени страха, мать, верившая во всемогущество Богородицы, представилась Клоду (моему отцу) и попросила отвезти ее в ближайший монастырь. Отец — недалекий, но добрый человек на десять лет старше ее — предложил переночевать, собираясь наутро доставить девочку домой и, может быть, получить награду.

Домой она не вернулась, но и в монастырь не попала. Дни превращались в недели, а она по-прежнему боялась своего отца — тот, по слухам, объехал всю округу и подкупил всех до единого служителей Церкви. Прошло три месяца, и выяснилось, что она умеет обращаться с растениями и успокаивать животных. Клод почти не разговаривал с ней, ничем не тревожил, но иногда мать замечала, что он стоит, прикрыв рукой глаза, и следит за ней.

Однажды поздно ночью мать сквозь сон услышала стук в дверь, зажгла лампу и увидела на пороге Клода. Он был чисто выбрит, облачен в ночную рубашку и благоухал карболовым мылом.

— Жоржетта, ты выйдешь за меня замуж?

Она покачала головой, и Клод ушел, но через несколько ночей вернулся. Он всегда останавливался у двери, чисто выбритый и пахнувший мылом.

И она сказала «да». Домой возврата не было. В монастырь она уйти не могла: отец подкупил всех матерей-настоятельниц, которым хотелось новых алтарей. Но продолжать жить с этим тихим человеком и его болтливыми соседями, не выходя за него, тоже было невозможно. Он лег с нею, погладил по лицу и положил ее руку себе на лицо. Она не боялась. Она верила во всемогущество Пресвятой Девы.

Всякий раз, когда Клоду хотелось ее, он так же стучался и ждал, пока она скажет «да».

Потом родился я.

Она рассказывала мне о дедушке и бабушке, об их доме, в котором стояло фортепиано. При мысли о том, что я никогда их не увижу, на ее взгляд набегала тень, но мне нравилась моя безвестность. У всех в деревне имелись родственники, с которыми можно было враждовать. А я сочинял о своей родне байки. Они целиком зависели от моего настроения.

Благодаря усилиям матери и слегка подзабытой учености нашего священника я научился читать на родном языке, по-латыни и по-английски, знал арифметику и как оказывать первую помощь. А поскольку кюре увеличивал свой нищенский доход с помощью пари и азартных игр, я выучился всем карточным играм и освоил несколько фокусов. Я никогда не говорил матери, что у священника есть полая Библия, в которой лежит колода карт. Иногда кюре по ошибке брал ее с собой на мессу, и тогда темой проповеди неизменно становилась первая глава Бытия. А селяне думали, что он обожает историю о сотворении мира. Человек он был хороший, но пресноватый. Я бы предпочел видеть на его месте пламенного иезуита — возможно, тогда я обрел бы экстаз, которого не хватало для истинной веры.

Как-то я спросил кюре, почему он стал священником, и он ответил: если ты вынужден работать на кого-то, лучше, чтобы хозяина рядом не было.

Мы вместе ходили на рыбалку, кюре показывал пальцем тех девушек, которые ему нравились, и просил меня переспать за него с ними. Я никогда этого не делал. Женщины появились в моей жизни поздно, как и у моего отца.

Когда я уходил, мать не плакала. Плакал Клод. Мать дала мне свою маленькую Библию, ту самую, которую хранила долгие годы, и я пообещал, что буду читать ее.

Повар заметил мою нерешительность и ткнул в меня вертелом.

— Что, паренек, в первый раз? Не бойся. Я знаю этих девок — там комар носа не подточит, а обильные, что твои поля Франции.

Я приготовился: с головы до ног вымылся карболовым мылом.

Бонапарт, корсиканец. Родился в 1769-м. Лев.

Маленький, бледный, угрюмый, он обладал даром предвидения и невероятным умением сосредоточиваться. В 1789 году революция перевернула мир вверх тормашками, и на какое-то время последний уличный мальчишка мог стать важнее любого аристократа. Судьба благоволила к молодому лейтенанту, искушенному в артиллерии, и через несколько лет генерал Бонапарт превратил Италию в поля Франции.

— Что есть удача, как не умение пользоваться случайностью? — говаривал он. Он считал себя центром мира, и поколебать эту уверенность долго ничто не могло. Даже Джон Буль. Бонапарт был влюблен в себя, и Франция разделяла его чувство. Настоящий роман. Возможно, все романы таковы. Роман — не брачный контракт между двумя равноправными сторонами, а взрыв грез и желаний, что не могут выплеснуться в обыденную жизнь. Тут только драма потребна, и пока рвутся фейерверки, небо остается разноцветным. Он стал Императором. Он вызвал из Священного Города Папу, чтобы тот короновал его, но в последний момент взял корону и сам возложил ее себе на голову. Развелся с единственной женщиной, которая понимала его, с единственной женщиной, которую по-настоящему любил, потому что она не могла родить ему ребенка. Только с этой частью романа он не сумел справиться самостоятельно.

Он поочередно отталкивал и очаровывал.

Что бы вы делали на месте Императора? Считали бы солдат цифрами? Битвы — стрелами на картах? Мыслителей — опасными врагами? Закончили бы свои дни на острове, питаясь солониной и общаясь со скучными людьми?

Он был самым могущественным человеком в мире, но не мог выиграть у Жозефины в бильярд. Я рассказываю вам байки. Верьте мне.

Борделем управляла великанша-шведка с волосами цвета одуванчика, что живым ковром спускались ей на колени. Подвернутые рукава платья она закрепила подвязками, и руки были голыми. На шее у шведки на кожаном шнурке болталась деревянная куколочка с плоским лицом. Увидев, что я смотрю на нее, хозяйка силой пригнула мою голову и дала мне понюхать куколочку. Та пахла мускусом и незнакомыми цветами.

— С Мартиники, как бонапартова Жозефина.

Я улыбнулся и сказал:

— *Vive notre dame de victoires*³.

Но великанша засмеялась и сказала, что Бонапарт не сдержит своего слова: Жозефину никогда не коронуют в Вестминстере. Повар грубо велел ей помалкивать, однако шведка не испугалась. Она провела нас в холодный каменный каземат с койками и длинным столом, уставленным кувшинами с красным вином. Я ожидал увидеть красный плюш, о котором рассказывал кюре, описывая эти места скоротечных наслаждений, но тут не было ничего мягкого. Ничего, что могло бы отвлечь нас от дела. Женщины оказались старше, чем я думал, и ничем не напоминали картинки в книге кюре, посвященной смертным грехам. Не похожи ни на змей, ни на Еву с грудями, как яблоки; пухлые и безропотные, а волосы поспешно взбиты или распущены по плечам. Мои товарищи загорланили, засвистели, стали лить вино себе в глотки прямо из кувшинов. Я хотел выпить воды, но не знал, как попросить.

Повар приступил в делу первым — шлепнул одну тетку по заду и что-то сказал про ее корсет. На нем по-прежнему были заляпанные жиром сапоги. Другие тоже разошлись, подобрав себе парочки, а я остался наедине с терпеливой чернозубой женщиной; на одном пальце у нее был десяток колец.

— Я в армии недавно, — сказал я, надеясь, что она поймет: я не знаю, как себя вести.

Женщина ущипнула меня за щеку.

— Все так говорят. Думают, в первый раз так выйдет дешевле. Но это работенка та еще — как учить играть в бильярд без кия. — Она перевела взгляд на повара: тот на корточках пристроился на тюфяке и попытался вытащить свой хрен из штанов. Женщина стояла перед поваром на коленях, сложив руки на груди. Вдруг он закатил ей оплеуху, и шлепок заставил всех умолкнуть.

³ Да здравствует вдохновительница наших побед (*фр.*).

— Ну ты, сучка, помоги же мне! Сунь туда руку! Или ты боишься миног?

Женщина скривилась. Ее щека побагровела, хотя кожа была грубой. Она ничего не ответила, только сунула руку ему в штаны и вынула оттуда член, как хоряка за шкуру.

— В рот.

Я тут же подумал об овсянке.

— Хороший у тебя друг, — сказала моя женщина.

Мне хотелось подойти к повару, сунуть мордой в одеяло и держать, пока не задохнется. Но он кончил, громко зарычал и рухнул на спину. Его женщина встала, демонстративно сплюнула в лохань на полу, затем прополоскала рот вином и сплюнула снова. Прodelала она все это громко, повар услышал и спросил, как она смеет выплевывать его семя во французские сточные канавы.

— А что еще с ним делать?

Повар ринулся к ней, но опустить кулак не успел. Моя женщина шагнула вперед и огрела его по затылку кувшином для вина. Потом приобняла подругу и коснулась губами ее лба.

Со мной она ни за что так не сделает.

Предводителя мы несли домой, поочередно меняясь вчетвером, — на плечах, как гроб, лицом вниз, на случай, если его вырвет. Утром он хвалился перед офицерами, что засунул сучке в рот весь член целиком и от этого щеки у нее надулись, как у крысы.

— А что у тебя с головой?

— Упал на обратном пути, — сказал повар, посмотрев на меня.

Он ходил к шлюхам почти каждый вечер, но я больше никогда его не сопровождал. Не общался ни с кем, кроме Домино и Патрика, священника-расстриги с орлиным глазом. Все время учился фаршировать кур и готовить их на медленном огне. И ждал Бонапарта.

Наконец он прибыл. Это случилось в жаркое утро, когда отступившее море оставило соленые лужи между камнями пристани. Прибыл вместе с генералами Мюротом и Бернадотом. С новым адмиралом флота. С женой, изящество которой заставляло даже последнего мужлана драить сапоги до зеркального блеска. Но я видел только его. Наставник мой — священник, поддержавший Революцию, — много лет твердил, что Бонапарт, возможно, — Сын Божий, вновь сошедший на землю. Вместо истории и географии я изучал его сражения и кампании. Вместе с кюре склонялся над старой, невозможно протертой на сгибах картой мира, разглядывая те места, в которых он бывал, и следя за медленно расползавшимися границами Франции. Портрет Бонапарта висел у кюре рядом с иконой Пресвятой Девы, и я рос, глядя на то и другое, тайком от матери — та оставалась монархисткой и по-прежнему молилась за упокой души Марии-Антуанетты.

Когда Революция сделала Париж городом вольных людей, а Францию — бичом Европы, мне было всего пять лет. Наша деревня стояла лишь немного ниже по течению Сены, но мы могли бы жить и на луне. Толком никто не знал, что происходит: было известно лишь, что короля с королевой посадили в тюрьму. Мы верили слухам, но кюре тайком пробирался в Париж и возвращался обратно, надеясь, что сутана спасет его от ножа или расстрела. Деревня разделилась. Большинство считало, что король и королева правы, хотя им не было до нас никакого дела — лишь бы мы платили налоги и вписывались в сельский пейзаж. Но это я вам говорю, а меня научил умный человек, который титулы не уважал. По большей части, мои деревенские друзья не могли даже выразить свое беспокойство, но его было видно по тому, как они ходили за скотиной или внимали проповедям кюре. Мы всегда беспомощны, кто бы нами ни правил.

Кюре говорил, что мы живем последние дни, Революция даст нам нового мессию, после чего на земле наступит тысячелетнее царство. Правда, в церкви до такого он никогда не доходил. Говорил только мне. И никому другому. Ни Клоду с его кадушками, ни Жаку в темноте с его нареченной, ни матери с ее молитвами. Он сажал меня на колени, прижимал к черной сутане, пахшей старостью и сеном, и уговаривал не бояться деревенских слухов, что Париж умирает с голоду или битком набит трупами.

— Анри, Христос сказал, что принес не мир, но меч. Помни это.

Когда я стал постарше, и бурные времена сменились чем-то вроде спокойствия, Бонапарт начал создавать себе имя. Мы называли его своим Императором задолго до того, как он этот титул присвоил. А когда мы возвращались из самостройной церкви в зимних сумерках, кюре смотрел на уходившую вдаль дорогу и слишком крепко сжимал мою руку.

— Он призовет тебя, — шептал священник, — как Господь призвал Самуила, и ты пойдешь.

Когда он прибыл, мы не упражнялись. Он застал нас врасплох — видимо, нарочно, — и когда

первый измученный гонец галопом прискакал в лагерь с известием, что Бонапарт едет без остановок и прибудет еще до полудня, мы сидели в одних рубашках, пили кофе и играли в кости. Офицеры озверели от страха и начали гонять солдат так, словно высадились англичане. К приему Императора не подготовились; в его специально построенном бивуаке размещалась пара пушек, а повар был вдребезги пьян.

— Эй, ты! — Меня поймал незнакомый капитан. — Сделай что-нибудь с птицами. Можешь не заботиться о мундире. Нам маршировать, тебе делом заниматься.

Вот так всегда. Кому слава, а кому — куча дохлых кур.

Я разозлился, наполнил водой самый большой котел для рыбы и облил повара. Тот не шелохнулся.

Час спустя, когда птицы были нанизаны на вертела и ждали очереди, капитан вернулся в чрезвычайном возбуждении и сказал мне, что Бонапарт хочет проинспектировать кухню. Император всегда интересовался мелочами снабжения армии, но это было очень неудобно.

— Убрать отсюда этого человека, — уходя, приказал капитан. Повар весил около двухсот фунтов, я — от силы сто двадцать. Попытался взять его под мышки и утащить волоком, но чуть не надорвался.

Будь я пророком, а повар — язычником, что поклонялся своему кумиру, я мог бы воззвать к Господу, чтобы сонм ангелов сдвинул его с места. Но вместо ангелов мне на помощь пришел Домино и принялся что-то рассказывать о Египте.

Я знал о Египте — там был Бонапарт. Его египетская кампания была гибельной, но смелой: его там не брали ни чума, ни лихорадка, ни долгие кавалерийские марши по пустыне без единой капли воды.

— Разве он смог бы так, — говорил кюре, — если б его не защищал Господь?

Именно Домино придумал план: поднять повара так же, как египтяне подымали своиobelisks — рычагом, а в нашем случае — веслом. Мы подсунули весло ему под спину, а у ног выкопали яму.

— Давай, — сказал Домино. — Наляжем всем весом, и он встанет.

То был Лазарь, восставший из мертвых.

Мы поставили повара стоймя, и я засунул весло ему за пояс, чтоб не опрокинулся.

— А теперь что делать, Домино?

Пока мы стояли по обе стороны от этой горы человеческой плоти, полог откинулся, и в палатку влетел капитан — при всем параде. От нашего вида с лица офицера сошла краска, будто ему в глотку засунули кляп. Капитан разинул рот, шевельнул усами, но не ни звука не вылетело.

От входа его оттолкнул Бонапарт.

Он дважды обошел наш экспонат и наконец спросил, кто это такой.

— Повар, сир. Слегка пьян, сир. Эти люди убирают его.

Мне было позарез необходимо вернуться к вертелу, где начинала подгорать курица, но тут Домино шагнул вперед и заговорил на каком-то грубом языке: позже он сказал, что это корсиканский диалект Бонапарта. Ему как-то удалось объяснить случившееся — как мы решили использовать опыт египетской кампании. Когда Домино закончил, Бонапарт подошел ко мне и ущипнул за ухо так, что опухоль не спадала несколько дней.

— Капитан, теперь вы понимаете, что делает мою армию непобедимой? — спросил он. — Изобретательность и решительность, которую проявляет даже самый скромный из солдат. — Капитан слабо улыбнулся, а Бонапарт обратился ко мне. — Ты увидишь небывалое и вскоре будешь обедать на английском фарфоре. Капитан, позаботьтесь, чтобы этот мальчик прислуживал мне лично. В моей армии не будет слабых мест. Я хочу, чтобы на моих денщиков можно было положиться так же, как на моих генералов. Домино, сегодня мы поедем с тобой верхом.

Я тут же написал своему другу кюре. По сравнению с этим меркли другие чудеса. Я был избран. Но не предвидел, что повар станет моим заклятым врагом. К ночи почти все в лагере слышали эту историю и приукрашивали ее как могли: получалось, что мы зарыли повара в траншею и не то избili его до потери сознания, не то Домино напустил на него чары.

— Если бы я знал, как это делается, — отвечал он, — нам бы не пришлось копать.

Повар, похмельный и злее обычного, не мог выйти наружу: солдаты подмигивали и показывали на него пальцами. Наконец не выдержал: увидев, что я сижу и читаю свою маленькую Библию, подошел и схватил меня за воротник.

— Думаешь, если Бонапарт обратил на тебя внимание, то можешь ничего не бояться? Пока да, но у нас впереди еще много лет.

Он толкнул меня на мешки с луком и плюнул в лицо. Прошло немало времени, прежде чем мы встретились снова: капитан откомандировал его на склады под Булонью.

— Забудь о нем, — сказал Домино, когда мы смотрели, как повар уезжает от нас на задке телеги.

Тяжело помнить, что день тот никогда не вернется. Время — только сейчас, место — только здесь, и никакое мгновение повторить нельзя. Когда Бонапарт был в Булони, мы чувствовали себя не просто нужными, но избранными. Он вставал раньше нас, ложился позже, вникал во все детали нашей подготовки и сам муштровал нас. Он вытягивал руку к Ла-Маншу с таким видом, словно Англия уже принадлежала нам. Каждому из нас. Таков был его дар. Он стал средоточием наших жизней. Мысль о борьбе воодушевляла нас. Никто не хотел гибнуть в бою, но все мы — и горожане, и крестьяне — привыкли к долгому изнурительному труду, холоду и приказам. Мы не были свободными людьми. Он даже скуку наделял смыслом.

Нелепые плоскодонные баржи, строившиеся сотнями, превращались в гордые галеоны. Выходя в море и осваивая искусство навигации, чтобы преодолеть коварный двадцатимильный пролив, мы больше не шутили ни над сетями для ловли креветок, ни над тем, что эти лоханки больше годятся для прачек. Когда Бонапарт стоял на берегу и выкрикивал приказы, мы подставляли лица ветру и готовы были отдать за Императора жизнь.

По замыслу, каждая баржа должна была вмещать шестьдесят человек; заранее рассчитывали, что двадцать тысяч либо не доберутся до берега, либо их потопит английский флот. Бонапарт считал это приемлемым: он привык к таким потерям в битвах. Никто из нас не боялся попасть в эти двадцать тысяч. Мы вступили в армию не для того, чтобы бояться.

Согласно плану Бонапарта, французский военно-морской флот мог удерживать Ла-Манш шесть часов — за это время армию бы высадила, и Англия стала нашей. Все казалось до абсурда легким. За шесть часов нас не смог бы разгромить сам Нельсон. Мы смеялись над англичанами; у большинства были свои планы на этот визит. В частности, я хотел посетить лондонский Тауэр, ибо кюре рассказывал, что там полно сирот, бастардов аристократического происхождения: родители стыдятся их и не хотят видеть у себя дома. Мы, французы, не такие. Мы рады своим детям.

Домино говорил, что ходит слух, будто мы роем подземный ход, который позволит нам, как кротам, выскочить из-под земли где-то в полях Кента.

— Нам понадобился час, чтобы выкопать яму для ног твоего друга.

В других слухах говорилось о высадке с воздушных шаров, о пушках, стреляющих людьми и о намерении взорвать Парламент, как однажды чуть не сделал Гай Фокс⁴. Слух о воздушных шарах англичане приняли всерьез и даже построили высокие башни у Пяти Портов, чтобы следить за нами и сбивать.

Все это глупости, но я думаю: потребуй от нас Бонапарт привязать к рукам крылья и лететь на дворец Сент-Джеймс — мы полетели бы не задумываясь, как дети, запускающие воздушного змея.

Без Бонапарта — когда государственные дела заставляли его возвращаться в Париж, — наши дни и ночи отличались друг от друга лишь количеством света. Лично я, которому было некого любить, уподоблялся ежу и прятал свое сердце в листве.

Я умею ладить со священнослужителями, поэтому нет ничего удивительного, что после Домино вторым другом для меня стал Патрик, расстрига с орлиным глазом, вывезенный из Ирландии.

В 1799-м, когда Наполеон еще только боролся за власть, генерал Гош, кумир школьников и тогдашний любовник мадам Бонапарт, высадился в Ирландии и едва не разбил Джона Буля наголову. Однажды на привале он услышал рассказ о некоем опальном священнике, правый глаз которого был, как у прочих, зато левый мог посрамить лучший телескоп. Беднягу лишили сана за то, что он подсматривал за девушками с колокольни. Какой священник этого не делает? От чудесного глаза Патрика не могла укрыться ни одна женская грудь. Девушка могла раздеваться за две деревни от церкви, но если вечер был ясным, а ставни открытыми, священник видел ее так ясно, словно она складывала одежды к его ногам.

Гош, человек мирской, не верил в бабушкины сказки, но вскоре понял, что женщины умнее его. Хотя Патрик сначала отвергал обвинения, а мужчины смеялись над бабьими фантазиями, женщины потупляли взоры и говорили, что чувствуют, когда за ними наблюдают. Епископ отнесся к их словам

⁴ Глава «Порохового заговора» 5 ноября 1605 г., устроенного католиками с целью убийства короля Якова I: под здание Парламента, куда тот должен был прибыть, подложили бочки с порохом; заговор был успешно раскрыт. — *Прим. ред.*

всерьез. Похоже, он не слишком верил в рассказы о глазе Патрика, но предпочитал гладкие формы мальчиков из церковного хора; именно поэтому поведение Патрика вызвало у него крайнее отвращение.

Священнику следует заниматься делом, а не подглядывать за девками.

Гош, попавший в паутину сплетни, напоил Патрика до того, что бывший священник на ногах не держался, а потом притащил его на высокий холм, с которого открывалась панорама широкой равнины. Они сели рядом; пока Патрик клевал носом, Гош достал красный флаг и пару минут помахал им. Потом разбудил расстригу и как бы между прочим заметил: и вечер, мол, прекрасный, и вид великолепный. Из уважения к хозяину Патрик заставил себя посмотреть туда, куда указал Гош, и пробормотал, что Бог благословил Ирландию, сделав ее земным раем. Потом слегка подался вперед, прищурил один глаз и взволнованно сказал — точно епископ, принимающий первое причастие:

— Вы только поглядите!

— На что, на того сокола?

— При чем тут сокол? Она сильная и смуглая, как корова!

Сам Гош не видел ничего, но знал, что именно видит Патрик. Он заплатил одной деревенской шлюшке, велел ей раздеться посреди поля в пятнадцати милях от холма и через равные промежутки расставил своих людей с красными флагами.

Уплывая во Францию, он взял Патрика с собой.

Найти Патрика в Булони было легче легкого. Он стоял на специально сооруженной колонне, как Симеон Столпник. Отсюда расстрига видел другой берег Ла-Манша и докладывал о местонахождении блокадного флота Нельсона, предупреждая наши войска на учениях об английской угрозе. Если бы англичане вели патрульную службу с большей охотой, они могли бы легко взять на бордаж французские суда, отошедшие слишком далеко от порта. Чтобы предупредить нас, Патрику дали альпийский рог в рост человека. В туманные ночи этот меланхолический звук долетал до скал Дувра, и ползли слухи о том, что Бонапарт нанял наблюдателем самого дьявола.

Каково было Патрику служить французам?

Все же лучше, чем англичанам.

Без Бонапарта я чаще всего проводил время с Патриком, сидя с ним на колонне. Вершина ее была футов двадцать на пятнадцать, так что было где сыграть в карты. Иногда приходил Домино и устраивал боксерский матч. Малый рост не доставлял ему неудобств; хотя кулаки у Патрика были с пушечные ядра, расстрига ни разу не попал в Домино: карлик обычно прыгал вокруг соперника, пока тот не начинал уставать. Улучив момент, Домино наносил один-единственный удар, причем не кулаками, а обеими ногами, выгнувшись вбок, назад или сделав мгновенную стойку на кистях. Матчи были шуточными, однако мне доводилось видеть, как карлик валил быка, прыгнув ему на лоб.

— Анри, если бы ты был ростом с меня, тоже научился бы заботиться о себе, а не зависеть от милости окружающих.

Я поглядывал с колонны, а Патрик описывал мне, что происходит на палубах под английскими парусами. Он видел адмиралов в белых лосинах, моряков, что бегали вверх-вниз по вантам, чтобы поймать в паруса ветер. То и дело кого-нибудь пороли. Патрик утверждал, что видел, как кожа сходит со спины одним куском. Матроса макнули в море, чтобы не загноилось, а потом оставили лежать на палубе под палящим солнцем. Патрик говорил, что он может видеть долгоносиков в хлебе.

Только этому верить не стоит.

20 июля 1804 года. Еще не рассвет, но уже и не ночь.

Спокойствия нет ни в кронах, ни на море, ни в лагере. Птицы и мы спим урывками: хотим уснуть, но мешает мысль о скором пробуждении. Где-то через полчаса приходит этот знакомый холодный серый свет. Потом солнце. Потом крик чаек, мечущихся над волнами. Чаще всего я встаю именно в это время. Иду на пристань и слежу за судами — собаками, посаженными на цепь.

Жду, чтобы солнце иссекло воду.

Последние девятнадцать дней стоял штиль, как в мельничном пруду. Мы сушили одежду на горячих камнях, а не на ветру, но сегодня рубашки полощет бриз, и суда сильно раскачиваются.

Сегодня у нас учения. Через пару часов приедет Бонапарт и будет смотреть, как мы действуем. Он хочет выпустить в море 25 000 человек за пятнадцать минут.

И выпустит.

Погода испортилась внезапно. Если станет хуже, в пролив не выйдешь.

Патрик говорит, что в Ла-Манше полно русалок. Они так истосковались по мужчинам, что утопят многих из нас.

Я слежу за пенистыми волнами, бьющими в борта судов, и гадаю: а вдруг этот проказливый шторм — их рук дело?

Будем надеяться на лучшее: может, утихнет.

Полдень. Дождь сбегает по нашим носам на мундиры, а с них — в сапоги. Чтобы поговорить с соседом, нужно прикрывать рот ладонью. Ветер уже разметал десятки барж, люди оказались по горло в воде. Ветер смеется над самыми крепкими нашими узлами. Офицеры говорят, что сегодня проводить учения опасно. Бонапарт, натянув шинель на голову, говорит, что мы справимся. И справимся.

20 июля 1804 года. Сегодня утонули две тысячи человек.

Порывы ветра так сильны, что наблюдателя Патрика пришлось привязать к бочкам с яблоками. Мы наконец поняли, что наши баржи — детские игрушки. Бонапарт стоял на пристани и твердил своим офицерам, что никакой шторм нам не страшен.

— Даже если небо рухнет на землю, мы удержим его на остриях своих пик.

Может быть. Но нет такой силы воли и такого оружия, что могли бы удержать море.

Я плашмя лежу рядом с Патриком, тоже привязанный, почти ничего не вижу из-за измороси, но после каждого шквала замечаю провал там, где прежде была баржа.

Русалки больше не будут одиноки.

Нам следовало бы восстать против него, засмеяться ему в лицо, трясая волосами утопленников, запутавшимися в водорослях. Но его лицо, как всегда, молит нас сделать так, чтобы он оказался прав.

Вечером, когда шторм утих и мы пили дымящийся кофе в промокших насквозь палатках, никто не произнес ни слова.

Никто не сказал: давайте бросим, давайте возненавидим его. Мы держали кружки обеими руками и пили кофе с коньяком; он приказал выдать порцию каждому.

В тот вечер я прислуживал ему, и его улыбка рассеяла безумие рук и ног, затыкавших мне рот и уши.

Я весь был в утопленниках.

Утром в Булонь маршем вошли 2000 новых рекрутов.

Вы когда-нибудь вспоминаете детство?

Я вспоминаю, когда чую овсянку. Иногда с пристани я иду в город, бреду на аромат свежего хлеба и бекона. И всегда отыскиваю дом, который ничем не отличается от соседних, если не считать тягучего запаха овса. Сладкого и слегка солоноватого. Плотного, как одеяло. Я не знаю, кто живет в этом доме, кто там готовит, но представляю себе желтый огонь и черный горшок. В нашем доме был медный котелок, который я драил, потому что мне нравилось драить все, что способно блестеть. Мать варила овсянку, оставляя котелок всю ночь на углях. Утром она мехами раздувала пламя так, что в трубу летели искры, и подрумянивала кашу; белые струйки овсянки переливались через край котелка и застывали на его боках, как полоски бурой бумаги.

Мы ходили по каменным плитам, но зимой мать устилала пол сеном; от сена и овса мы сами пахли, как в яслях.

Почти все мои друзья по утрам ели теплый хлеб.

Я был счастлив, но счастье — взрослое слово. Незачем спрашивать ребенка, счастлив ли он; это и так видно. Либо счастлив, либо нет. Взрослые говорят о счастье, главным образом, потому что они несчастны. Говорить об этом — все равно что ловить ветер. Гораздо легче, если он просто дует на вас. Тут я не согласен с философами. Они говорят о страсти, которой сами не ведают. Никогда не говорите о счастье с философом.

Но я больше не ребенок, и Царство Небесное часто бежит меня. Теперь слова и мысли всегда влезают между мной и чувством. Даже тем чувством, что дается нам при рождении. Счастьем.

Сегодня утром я чую овсянку и вижу маленького мальчика — он рассматривает свое отражение в

медном котелке, который только что надраил. Входит отец, смеется и предлагает взамен свое бритвенное зеркальце. Но там видно только одно лицо, а в котелке — все его искажения. Мальчик видит в нем множество возможных лиц и понимает, кем он может стать.

Рекруты прибыли. Почти все безусы, щеки — как яблоки. Такие же свежие деревенские создания, как и я сам. Их лица бесхитростны и полны рвения. С новобранцами возятся, выдают обмундирование и растолковывают уставы, которые заменят им мытье подошников и чистку свинарника. Офицеры здороваются с ними за руку, как со взрослыми.

Никто не заикается о вчерашних учениях. Нам сухо, палатки сохнут, мокрые баржи лежат на берегу вверх дном. Море выглядит невинно, и Патрик спокойно бреется на своей колонне. Рекрутов разбивают на полки; друзей разлучают из принципа. Новое начало. Уже не мальчики, но мужи.

Все, что они взяли с собой из дома, скоро потеряется или будет съедено.

Странно, что за несколько месяцев можно так измениться. Я пришел сюда таким же деревенским пареньком, да и остался им, но товарищи мои — уже не застенчивые мальчики с огнем войны, пылающим в глазах. Они стали жестче, грубее. Естественно, скажете вы, такова армейская жизнь.

И все же дело не только в этом. Так прямо и не скажешь.

Мы пришли сюда от своих матерей и возлюбленных. Мы привыкли к натруженным материнским рукам — даже самые сильные из нас могли получить такую затрещину, что звенело в ушах. Мы по-деревенски ухаживали за своими любимыми — неторопливо, как зреет урожай в полях. Яростно, как вгрызаются в землю зубья бороны. Но здесь, где нет женщин, а есть только наше воображение и горстка шлюх, мы не помним, как женщина своей страстью может сделать из мужчины святого. Это опять слова из Библии, но я вспоминаю отца, который по вечерам прикрывал глаза рукой от солнца и учился обращаться с моей матерью. Вспоминаю мать с ее пылким сердцем, всех деревенских женщин, что в полях ждут и тех, кто утонул вчера, и всех сыновей, кто занял место погибших.

Здесь о них не думают. Думают только об их телах, время от времени говорят о доме, но не вспоминают, какими они были на самом деле: из плоти и крови, самыми любимыми, самыми близкими.

Но они живут себе дальше. Чего бы мы ни делали, что бы ни разрушали, они живут.

В нашей деревне жил человек, которому нравилось считать себя изобретателем. Почти все время он возился со шкивами, мотками веревки и обрезками бревен, сооружая приспособления, которыми можно было поднимать корову или укладывать трубы, чтобы в дом поступала вода из реки. У этого человека был светлый голос; он легко находил общий язык с соседями. Привыкнув к разочарованиям, он всегда умел утешать других разочарованных. Деревня всегда зависит от дождя и солнца, а потому разочарований хватает.

Пока этот человек изобретал и совершенствовал свои устройства, приободрял всех нас, его жена, из которой обычно слова не вытянешь, кроме «ужин готов», работала в поле, вела хозяйство, а поскольку ее муж любил плотские утехи, заодно воспитывала шестерых детей.

Как-то человек на несколько месяцев уехал в город — попытать счастья. Когда же он вернулся, не только не нажив состояния, но и спустив все сбережения, жена тихо сидела в чистом доме, штопала чистую одежду, а поле было засеяно на зиму.

Этот человек действительно нравился мне, считать его бездельником было бы глупо, и мы нуждались в нем и его жизнерадостности. Но когда она умерла — внезапно, в полдень, — свет погас в его голосе, а водяные трубы забились грязью. Он едва успевал обрабатывать участок и в одиночку растить шестерых детей.

Она вдохновляла его. И в этом смысле — была его божеством.

Но на нее не обращали внимания. Как на самого Господа Бога.

Прибывая сюда, рекруты плачут, вспоминают своих матерей и возлюбленных и мечтают вернуться домой. Вспоминают то, что сильнее всего влечет их туда: не чувства, не сантименты, а любимые лица. Большинству новобранцев нет и семнадцати, а от них требуют сделать за несколько недель то, на что у лучших философов мира уходят годы: собрать в кулак всю свою страсть к жизни и понять ее смысл перед ликом смерти.

Мальчики не умеют этого, но умеют забывать; мало-помалу они одолевают бушующее в крови

лето, получая взамен лишь похоть и гнев.

Вскоре после морской катастрофы я начал вести дневник. Чтобы ничего не забывать. Чтобы позже — если доведется сидеть у огня и оглядываться на пройденное, — у меня было то, на что я смогу положиться, что поможет одолеть провалы в памяти. Я сказал об этом Домино; он ответил:

— То, как ты видишь все это сейчас, ничуть не реальнее того, как увидишь потом.

Я не мог согласиться с ним. Я знал, как лгут старики, потерявшие память: прошлое у них всегда лучше всего, потому что оно прошло. Разве не об этом же говорил сам Бонапарт?

— Посмотри на себя, — сказал Домино. — Тебя воспитали священник и набожная мать. Ты не способен из мушкета даже кролика подбить. С чего ты взял, что все понимаешь правильно? Что дает тебе право писать в тетрадке, а через тридцать лет размахивать ею передо мной — если мы, конечно, не умрем раньше — и считать, что ты владеешь истиной?

— Домино, мне нет дела до фактов. Меня заботит то, как я их чувствую. Чувства изменятся, а я хочу помнить, какими они были.

Он пожал плечами и оставил меня в покое. О будущем он никогда не говорил, а о своем изумительном прошлом упоминал лишь изредка, когда был пьян. О прошлом, в котором имелись женщины в платьях с блестками, лошади с хвостами, разделенными надвое, и отец, который зарабатывал на жизнь тем, что позволял выстреливать собой из пушки. Домино родился где-то в восточной Европе, и кожа у него была цвета старых маслин. Мы знали только, что он забрел во Францию по ошибке несколько лет назад и спас мадам Жозефину, выхватив ее из-под копыт взбесившейся лошади. Тогда она была просто мадам Богарне, незадолго до этого вышла из зловонной тюрьмы Карм и овдовела. Ее мужа казнили в дни Террора; Жозефина должна была последовать за ним и уцелела лишь чудом: утром того дня, на который была назначена ее казнь, убили Робеспьера. Домино называл ее дамой с головой на плечах. По его словам, сидя без гроша за душой, Жозефина предлагала офицерам сыграть с ней в бильярд. Если она проиграет, офицеры смогут остаться на завтрак. Если же выиграет, они оплатят ей какой-нибудь неотложный счет.

Она никогда не проигрывала.

Несколько лет спустя она рекомендовала Домино своему мужу, который искал себе надежного конюха; Наполеон и Жозефина нашли карлика в каком-то балагане, где тот глотал огонь. Преданность Домино Бонапарту была спорной, но Жозефину и лошадей он поистине обожал.

Он рассказывал о знакомых гадалках и о том, какие толпы народа собирались каждую неделю, чтобы узнать свое будущее или раскрыть прошлое.

— Но вот что я тебе скажу, Анри: каждое мгновение, что ты крадешь у настоящего, теряется навсегда. Существует только «сейчас».

Я не обратил внимания на его слова и продолжал писать в своей тетрадке. В августе, когда солнце выжгло траву дожелта, Бонапарт объявил, что его коронация состоится в декабре.

Меня тут же отправили в отпуск. Наполеон сказал, что хочет потом взять меня с собой. Говорил, что нам предстоят великие дела. Говорил, что любит, когда за обедом ему улыбаются. Так было всегда: либо люди не смотрели в мою сторону вообще, либо оказывали мне доверие. Сначала я думал, что к последним относятся только священники, поскольку священники впечатлительнее простых людей. Но, очевидно, дело было не в священниках, а в том, каким я им казался.

Когда я начал прислуживать самому Наполеону, то думал, что он изрекает одни афоризмы — никогда не говорит так, как вы или я, а производит на свет только великие мысли. Я записывал все его изречения и лишь по прошествии времени понял, что большинство было вздором. Цитаты из его знаменитых речей — и я должен признаться: я плакал, слыша их. Он мог заставить меня плакать, даже когда я его ненавидел. Причем, плакать не от страха. Он был велик. Рядом с таким величием чувствуешь себя ничтожеством.

Я добирался до дома неделю — где на повозках, где пешком. Весть о коронации распространилась, и улыбки моих спутников говорили, что это им по душе. Никто не вспоминал, что всего лишь пятнадцать лет назад мы сражались за то, чтобы навсегда избавиться от королей. Что мы клялись никогда не воевать — разве что ради самозащиты. Теперь мы желали правителя и хотели, чтобы он заодно правил всем миром. В этом нет ничего необычного. Мы — такие же, как все прочие.

Поскольку я был в мундире, все были ко мне добры, кормили, заботились и делились лучшим куском. Я же рассказывал о лагере в Булони и о том, как на противоположном берегу мы видели

англичан, дрожавших от страха. Я приукрашивал, расцветчивал и даже лгал. А почему бы и нет? Это доставляло им удовольствие. Я не упоминал о тех, кто обручился с русалками. Все деревенские паренки горели желанием тут же вступить в армию, но я советовал им дожидаться коронации.

— Когда вы понадобится Императору, он позовет вас. А до тех пор трудитесь на благо Франции дома.

Естественно, это нравилось женщинам.

Меня здесь не было полгода. Сойдя с телеги примерно в миле от дома, я почувствовал, что хочется повернуть назад. Я боялся. Боялся того, что все изменилось и мне не обрадуются. Путешественнику всегда хочется, чтобы дом оставался прежним. От путешественника ждут, что изменится он — вернется с густой бородой, новым ребенком или рассказами о чудесной жизни в краях, где вечно светит солнце, а реки полны золота. Таких историй и у меня хватало, но мне хотелось, чтобы публика уже ерзала в нетерпении. Свернув со столбовой дороги, я прокрался в деревню, как бандит. Я заранее решил, чем будут заняты родители. Мать будет на поле с картошкой, отец — в хлеву. Я сбегу с холма, и мы устроим пирушку. Они меня не ждут. Никакая весть не могла достичь деревни за неделю.

Я присмотрелся. Оба были в поле. Мать, закинув голову, стояла подбоченившись и следила за собиравшимися облаками. Ждала дождя. От этого зависели ее планы. Рядом неподвижно стоял отец с мешками в руках. Однажды, когда я был маленьким, он тоже стоял так, но мешки были набиты слепыми кротами с еще грязными мордочками. Кроты были мертвы. Мы ловили их, потому что они портили поля, но тогда я этого не знал. Знал только то, что отец их убивает. Мать спасла меня от ночного дозора и увела домой, окоченевшего от холода. Утром мешки исчезли. После этого я и сам убивал кротов, но при этом смотрел в другую сторону.

Мать. Отец. Я люблю вас.

Много вечеров мы просидели допоздна: пили самодельный коньяк Клода, пока пламя не приобретало цвет увядших роз. Мать весело рассказывала о своем прошлом; казалось, верила, что с воцарением правителя многое пойдет по-прежнему. Даже подумывала написать родителям. Мать знала, что они будут праздновать возвращение монарха. Я удивился: мне казалось, она всегда поддерживала Бурбонов. Неужели одного титула Императора достаточно, чтобы искренне полюбить человека, которого она ненавидела?

— Анри, он поступает правильно. Стране нужны король и королева. Иначе на кого же нам равняться?

— На Бонапарта и так можно равняться, король он или не король.

Но так она не могла. А Бонапарт знал, что она не может. Он сел на трон не из простого тщеславия.

Говоря о родителях, мать питала те же надежды, что и странник на пути к дому. Думала, они не изменились, за двадцать с лишним лет вся мебель осталась целой и не сдвинулась с места. Отцовская борода сохранила свой цвет. Я понимал ее надежды. Мы все в чем-то рассчитывали на Бонапарта.

Время — великий умертвитель. Люди забывают, стареют, им становится скучно. Когда-то мать рискнула жизнью, сбежав от родителей, а теперь говорит о них с любовью. Неужели забыла? Неужели время смягчило ее гнев?

Она смотрела на меня.

— Анри, с годами я не стала жадной. Я брала то, что мне давали, и не спрашивала, откуда оно взялось. Мне нравится думать о них. Хочется любить их. Вот и все.

У меня вспыхнули щеки. По какому праву я осуждаю ее? Лишаю радости и заставляю чувствовать глупой и сентиментальной? Я встал перед нею на колени спиной к огню и прижался грудью к ее ногам. Мать продолжала штопать.

— Ты такой же, какой была я, — сказала она. — Нетерпеливый и слабосердый.

Дождь шел несколько дней. Та морось, что за полчаса промочит так, что ливню делать уже нечего. Я ходил по друзьям из дома в дом, мы болтали, а заодно я помогал им делать уборку и что-то

ремонттировать по мелочи. Мой друг кюре отправился в паломничество, поэтому я оставил ему несколько длинных писем — именно таких, которые любил получать сам.

Я люблю раннюю темноту. Это еще не ночь. Она дружелюбна. Никто не боится выходить на улицу без фонаря. Девушки поют, возвращаясь с последней дойки. Если я выскочу из-за угла, они вскрикнут и погонятся за мной, но сердца у них не заколотятся. Трудно сказать, чем один вид темноты отличается от другого. Настоящая темнота плотнее и тише; она заползает между мундиром и сердцем. Лезет в глаза. Когда мне нужно выйти в ночь, я боюсь не зуботычин или ножей, хотя за стенами и оградами можно найти и то другое. Я боюсь Темноты. Идешь и весело насвистываешь — но попробуй простоять на месте хотя бы пять минут. Постой в Темноте посреди поля или на тропинке, тогда поймешь, что здесь тебя всего лишь терпят. Темнота заставит тебя умерить прыть. Стоит сделать шаг, и Темнота сомкнется за твоей спиной. А впереди тебе нет места, если ты его не завоюешь. Темнота абсолютна. Идти в Темноте — все равно что плыть под водой; разница лишь в том, что не можешь вынырнуть и сделать вдох.

Когда ночью лежишь без сна, Темнота мягка на ощупь и чуть душновата, как кротовья шкурка. В деревне полагаются на луну, но когда луны нет, в окне не видно ни зги. Окно затянуто стеной, залито идеально черной поверхностью. Не та ли чернота стоит перед глазами слепого? Я всегда думал, что да, но меня разубедили. Слепой разносчик, постоянно навещавший нас, смеялся над моими рассказами о Темноте и говорил, что Темнота — его жена. Мы покупали у разносчика кадушки и кормили его на кухне. В отличие от меня, он никогда не разбрызгивал похлебку и не проносил ложку мимо рта.

— Я вижу, — говорил он, — но не глазами.

Мать сказала, что прошлой зимой он умер.

Стоит ранний вечер — последний вечер моего отпуска. Но мы не будем устраивать ничего особенного. Мы не хотим думать, что я снова ухожу из дома.

Я пообещал матери, что вскоре после коронации вызову ее в Париж. Я сам никогда там не был, и мысль об этом облегчает мне прощание. Домино туда тоже приедет — ходить за своей чокнутой лошастью, учить это чудовище вышагивать в ногу с придворными конями. Непонятно, зачем Бонапарту в столь ответственный момент понадобилась именно эта тварь, солдатский конь — не создание для парадов. Но он всегда напоминает нам, что тоже солдат.

Наконец Клод отправился спать. Мы с матерью остались одни, но не говорили ни слова. Просто держались за руки, пока фитиль не догорел и не наступила темнота.

Париж никогда не видел столько денег.

Бонапарты скупали все — от сливок до живописи Давида. Давиду, который польстил Наполеону, сказав, что у него голова настоящего римлянина, заказали писать коронацию, и он был вынужден каждый день являться в Нотр-Дам, делать эскизы и браниться с ремесленниками, которые пытались устранить ущерб, нанесенный революцией и банкротством. Жозефина, отвечавшая за цветы, не удовольствовалась вазами и букетами. Она чертила план маршрута от дворца до собора и была увлечена этим эфемерным занятием не меньше, чем Давид — своим. Я впервые увидел ее, когда она играла в бильярд с мсье Талейраном, господином достойным, но с шарами — бездарным. Если бы ее платье можно было расправить, шлейф протянулся бы ковровой дорожкой до самого собора, но Жозефина нагибалась и двигалась так, словно на ней ничего не было, и чертила кием идеальные параллельные линии. Бонапарт нарядил меня лакеем и приказал отнести ее величеству полдник. В четыре часа она любила лакомиться дыней. Мсье Талейрану подали портвейн.

Праздничное настроение, владевшее Наполеоном, превратилось чуть ли не в манию. Два дня назад он явился на обед, нарядившись папой римским, и похотливо спросил Жозефину, не хотела бы она переспать с Господом. Я не сводил взгляда с курятины.

Сегодня он велел мне снять солдатский мундир и надеть придворное платье. Невероятно узкое. Это его рассмешило. Он любил посмеяться — единственное успокоение, кроме все более горячих ванн, которые он принимал и днем, и ночью. Дворцовые банщики так же не знали покоя, как и повара. Он мог в любое время потребовать горячей воды, и если ванна оказывалась неполной, дежурному банщику доставалось по первое число. Я видел ванную только однажды. Посреди огромного помещения стояла ванна величиной с линейный корабль. В углу топилась печь, вода в трубах нагревалась, сливалась, снова нагревалась — пока не подходило время купания. Служители были специально отобраны из лучших силачей Франции, которые могли завалить быка. Эти парни в одиночку таскали огромные медные котлы, как чайные чашки; голые по пояс, они носили матросские

штаны, пропитанные потом, стекавшим по ногам темными ручьями. Как и матросам, им полагалась ежедневная порция спиртного, но я не знал, что именно они пьют. Однажды я просунул голову в дверь, вдохнул пар и увидел гиганта, похожего на джинна, — Андре. Он предложил мне глотнуть из его фляжки. Я из вежливости согласился, но тут же выплюнул бурую жидкость на кафедру, совершенно ошарашен от жары. Гигант ущипнул меня за руку, как повар, проверяющий готовность спагетти, и сказал, что здесь чем жарче, тем крепче жидкость.

— А почему тогда на Мартинике пьют этот ром, как ты считаешь? — Он подмигнул и прошелся, подражая походке ее высочества. Теперь Жозефина стояла передо мной, но я стеснялся сказать, что дыня подана.

Талейран кашлянул.

— Я не промахнусь, сколько б вы ни хрюкали, — сказала она.

Он кашлянул снова. Жозефина подняла взгляд, увидела, что я стою навытяжку, отложила кий и шагнула ко мне забрать поднос.

— Я знаю всех слуг, но тебя раньше не видела.

— Я из Булони, ваш-величество. Прибыл подавать курятину.

Она засмеялась и смерила меня взглядом.

— Ты одет не как солдат.

— Нет, ваш-величество. Теперь я при дворе, значит, одеваюсь, как при дворе.

Она кивнула.

— Думаю, ты можешь одеваться, как тебе нравится. Я попрошу его оказать тебе такую милость. Не хочешь перейти в услужение ко мне? Дыня намного слаще курятины.

Я перепугался. Неужели после всего пережитого я должен был потерять его?

— Нет, ваш-величество. Я не умею с дыней. Только с курятиной. Меня научили.

(Я говорил, как уличный мальчишка).

Она задержала ладонь на моем предплечье и пристально посмотрела в глаза.

— Я вижу твое усердие. Можешь идти.

Я благодарно поклонился, попятился и бегом припустился в помещения для челяди, где у меня имелась собственная комнатка: такая привилегия полагалась только личным слугам. Там хранились несколько книг, флейта, на которой я мечтал научиться играть, и мой дневник. Я попытался написать о ней, но тщетно. Она ускользала от меня так же, как булонские шлюхи. Поэтому я решил написать не о ней, а о Наполеоне.

После этого я готовил банкет за банкетом для наших покоренных территорий, желавших поздравить будущего Императора. Гости набивали себе желудки изысканными рыбой и мясом с только что изобретенными соусами, но Наполеон по-прежнему съедал по курице каждый вечер и чаще всего забывал про овощи. Никто этого не замечал. Ему стоило кашлянуть, и за столом воцарялось молчание. Я снова и снова ловил на себе взгляд ее величества, но если наши глаза встречались, она слегка улыбалась, а я опускал голову. Смотреть на нее означало изменять ему. Она принадлежала ему. И я ей завидовал.

В последующие недели Император стал все больше бояться, что его отравят или убьют. Но боялся не за себя: на кону стояло будущее Франции. Он заставлял меня пробовать всю приготовленную для него еду и только после этого ел сам. Он удвоил стражу. Ходили слухи, что он перед сном проверяет свою кровать. Впрочем, спал он немного. Как собака, которая может закрыть глаза и захрапеть в один момент. Однако если Наполеону было о чем подумать, он мог не спать несколько дней подряд, хотя все его генералы и друзья валялись с ног.

Внезапно в конце ноября, всего за две недели до коронации, он приказал мне вернуться в Булонь. Сказал, что я не прошел настоящей воинской подготовки и буду служить ему лучше, когда научусь обращаться с мушкетом так же, как с разделочным ножом. Наверное, он заметил, что я покраснел, потому что понимал мои чувства; он понимал чувства большинства людей. По своей всегдашней странной привычке ущипнул меня за ухо и сказал, что на Новый год даст мне особое задание.

Поэтому я покинул город снов накануне звездного часа Императора и уже из вторых рук узнал о том праздничном утре, когда Наполеон выхватил у папы корону, возложил ее на собственную голову, а потом короновал Жозефину. Говорили, что он скупил запасы мадам Клико на целый год. Муж мадам Клико недавно умер, все бремя свалилось на ее плечи, и она должна была благодарить небо за возвращение короля. Она была не одинока. Париж открыл двери нараспашку и три дня не гасил свеч. Спали только старики и больные, остальные пили, бесились и радовались. (Я не говорю об аристократах; но они тут вообще ни при чем).

В Булони стояла отвратительная погода. Я учился солдатскому ремеслу по десять часов в день и

вечером без сил валился на мокрую постель, заворачиваясь в пару вшивых одеял. Снабжали нас хорошо, но за мое отсутствие в армию вступили тысячи людей, поверивших наполеоновским проповедникам, с пеной у рта утверждавшим, что путь в Царство Небесное лежит через Булонь. От воинской повинности не освобождался никто. Лишь офицеры-вербовщики решали, кто останется, а кто пойдет служить. К Рождеству в лагерь набилось уже больше 100 000 человек; и еще больше народу ждало своей очереди. Мы бегали с полной выкладкой, ходили вброд по морю, осваивали друг с другом рукопашный бой и грабили все окрестные поля, чтобы прокормиться. Но этого не хватало. Хотя Наполеон не любил посредников, большинство съестных припасов поступало к нам неизвестно откуда, а мясо, как я подозреваю, принадлежало животным, которых не узнал бы и сам Адам. Дневной рацион каждого солдата составлял два фунта хлеба, четыре унции мяса и четыре унции овощей⁵. Мы крали все, что плохо лежит, тратили жалованье — если получали его — на еду в трактирах и опустошали тихие окрестные деревни. Сам Наполеон приказал отправить в некоторые лагеря *vivandières*⁶. *Vivandières* — это армейский эвфемизм. Он прислал нам веселых женщин, которым больше не с чего было веселиться. Питались они хуже нашего, обслуживали нас в любое время дня и ночи, а платили им плохо. Более обеспеченные городские проститутки жалели их и часто навевались в лагерь с одеялами и буханками хлебами. *Vivandières* были беглянками, бродяжками, младшими дочерьми слишком многодетных семей, служанками, уставшими отдаваться пьяным хозяевам, и толстыми старухами, не имевшими возможности заниматься своим ремеслом в других местах. По прибытии каждой выдавали нижнее белье и платье, которое часто леденило им грудь морской солью. Шали выдавали тоже, но если обнаруживалось, что женщина выполняет свои обязанности одетой, об этом докладывали и ослушницу наказывали. Наказание состояло в том, что вместо скудной недельной платы она не получала ничего. В отличие от городских проституток, которые могли за себя постоять, сами выбирали клиентов и, конечно, вносили с них, сколько хотели, *vivandières* были обязаны обслуживать всех желающих, независимо от времени суток. Однажды я встретил женщину, которая ползла домой после офицерской пирушки. Она сказала, что потеряла счет после тридцать девятого.

После тридцать девятого удара бича Христос потерял сознание.

В ту зиму большинство солдат ходило с огромными нарывами в тех местах, которые им натирало солью и ветром. Чаще всего — между пальцами ног и на верхних губах. Усы не спасали: волосы только усиливали раздражение.

В Рождество нас освободили от занятий, хотя у *vivandières* выходного не было. Мы сидели у костров, подложив в них побольше поленьев, и пили добавочную порцию коньяка за здоровье Императора. У нас с Патриком был пир горой: я украл гуся, которого мы зажарили и съели на верхней площадке колонны пополам с виной и радостью. Следовало поделиться с товарищами, но голод не тетка. Патрик рассказывал мне об Ирландии, болотных огнях и гоблинах, живущих под каждым холмом.

— Можешь не сомневаться. Маленький народец сделал мне сапоги размером с ноготок.

Он рассказал, как однажды отправился браконьерствовать. Стояла прекрасная июльская ночь — в меру темная, луна уже взошла, а звезды рассыпались во всю небесную ширь. Пробираясь через лес, он увидел кольцо зеленого пламени в рост человека. В центре кольца сидели три гоблина. Он знал, что это гоблины, а не эльфы, потому что у них были лопаты и бороды.

— Я молчал, как церковный колокол в субботнюю ночь, и подкрался к ним так, как подкрадываешься к фазану.

Они говорили о кладе, украденном у фей и закопанном в этом кольце под землей. Внезапно один встрепенулся, повел носом в воздухе и принялся.

— Чую человека, — сказал он. — Грязного человека в сапогах, измазанных глиной.

Другой гoblin засмеялся.

— Какая разница? Ни один человек в грязных сапогах не сможет войти в наши тайные палаты.

— На всякий случай — уйдем, — ответил первый, и они исчезли в мгновение ока. Пламя потухло. Несколько секунд Патрик пролежал в листьях, обдумывая услышанное. Потом осмотрелся, проверяя, нет ли посторонних, снял сапоги и пробрался туда, где было огненное кольцо. На земле не осталось никаких следов пламени, но босые пятки покалывало.

— Поэтому я понял, что нахожусь на заколдованном месте.

⁵ Около 900 и 115 г соответственно. — *Прим. пер.*

⁶ Маркитанток (*фр.*).

Он копал всю ночь, но не нашел ничего, кроме пары кротов и кучи червей. В полном изнеможении Патрик вернулся за сапогами и не поверил своим глазам.

— Размером с ноготок.

Он порылся в карманах и протянул мне пару замечательно сделанных крошечных сапог со сбитыми каблуками и потрепанными шнурками.

— Клянусь, они когда-то были мне впору.

Я не знал, верить ему или нет. Заметив, что брови у меня сначала выгнулись, а потом сошлись на переносице, Патрик протянул руку и забрал у меня сапоги.

— Я всю дорогу шел босиком, а когда утром отправился служить мессу, едва доковылял до алтаря. Я так устал, что пришлось устроить пастве выходной. — Он криво ухмыльнулся и похлопал меня по плечу.

— Верь мне. Я рассказываю тебе байки.

Другие байки он мне тоже рассказывал. О Пресвятой Деве, на которую нельзя положиться.

— Женщины — твари умные, — говорил он. — Знают нас как облупленных. Богородица — тоже женщина, даром что святая. Насколько я знаю, ни один мужчина не сумел с ней договориться. Можешь молиться ей хоть день и ночь — она все равно не услышит. Мужчине куда легче иметь дело с самим Христом.

Я пролепетал, что Пресвятая Дева — наша заступница.

— Конечно, но она заступает только за женщин. В моей церкви была статуя, как две капли воды похожая на Богородицу. Когда к ней приходили заплаканные женщины с цветами, я прятался за колонной и — клянусь тебе всеми святыми — сам видел, что статуя двигалась. Но когда приходили мужчины с шапками в руках, просили у Девы то и это и возносили ей молитвы, статуя оставалась недвижимой, как камень, из которого ее вытесали. Я устал повторять им правду. Советовал им обращаться прямо к Иисусу (статуя которого стояла рядом), но они не внимали мне. Каждому мужчине нравится, когда его слушает женщина.

— Разве ты сам ей не молишься?

— Конечно, нет. Можно сказать, у нас с ней уговор. Я присматриваю за ней, почитаю, и мы не лезем в дела друг друга. Она вела бы себя иначе, если б ее не изнасиловал Бог-отец...

О чем это он?

— Понимаешь, женщины любят, когда к ним относятся с уважением. Когда просят разрешения прикоснуться. Видишь ли, я всегда считал, что Бог поступил неправильно и несправедливо, когда послал к ней ангела, не спросил разрешения, а потом явился сам, не дав ей даже причестаться. Не думаю, что она его простила. Он слишком торопился. Так что я не осуждаю ее за высокомерие.

Такие мысли о Царице Небесной никогда не приходили мне в голову.

Патрик любил девушек и с удовольствием подсматривал за ними, не спрашивая разрешения.

— Но когда доходит до дела, я не тороплюсь и всегда даю ей время причестаться.

Остаток Рождества мы провели на вершине сторожевой башни, укрывшись за бочонками из-под яблок и играя в карты. Но в канун Нового года Патрик спустил лестницу и сказал, что мы должны сходить к причастию.

— Я неверующий.

— Тогда сходишь со мной за компанию.

Он уговорил меня, пообещав впоследствии распить со мной бутылку коньяка, и мы побрели по обледеневшим улицам в моряцкую церквушку, которую Патрик предпочитал армейским часовням.

Она медленно наполнялась горожанами и горожанками, укутанными тепло, но празднично. Из лагеря мы пришли одни. Возможно, единственные — трезвыми в эту окаянную погоду. Церковь была скромной, если не считать цветных витражей и статуи Царицы Небесной, облаченной в багряные одежды. Против желания я слегка поклонился ей, и Патрик ухмыльнулся.

Мы пели во весь голос; тепло и близость других людей тронули сердце безбожника, и я тоже узрел Господа сквозь иней. Стекла церкви были покрыты морозными узорами, а каменный пол, принявший касание наших коленей, был холоден, как могила. Старики с достоинством улыбались, а у детишек — некоторые были настолько бедны, что для тепла заматывали руки тряпьем, — волосики напоминали ангельские.

Царица Небесная смотрела на нас сверху.

Отложив затрепанные молитвенники, которые лишь немногие могли прочесть, мы с чистыми сердцами подошли к причастию; Патрик, подвернув усы, встал в конец очереди и сумел получить еще одну облатку.

— Двойное благословение, — шепнул мне он.

Я вообще не собирался причащаться, но тяга к сильным рукам и уверенности, тихая святость этого места вынудили меня встать и выйти в проход; незнакомые люди смотрели на меня так, словно я был их сыном. Я преклонил колени: от благовоний в голове плыло, священник читал медленно и монотонно, и мое гулко бившееся сердце успокоилось; я снова и снова думал о Боге, о матери, которая сейчас тоже стоит на коленях далеко отсюда и протягивает руки за своей долей Царства Небесного. Сейчас в домах моей деревни пусто и тихо, зато амбар полон. Полон честных людей, у которых нет церкви, кроме той, что создана ими самими. Из их же плоти и крови.

А ко всему привыкшая скотина дремлет.

Я положил облатку на язык, и язык обожгло. Вкусом вино напоминало мертвецов — две тысячи утопленников. Стоя перед священником, я видел лица обвинявших меня покойников. Видел палатки, промокшие от рассветного тумана. Видел посиневшие груди женщин. Я стиснул чашу, хотя чувствовал, что юре пытается забрать ее.

Я стиснул чашу.

Когда священник бережно разогнул мои пальцы, я увидел, что на моих ладонях отпечатались серебро. Может, это мои стигматы? Буду ли я кровоточить за каждую смерть — как мертвую, так и живую? Если бы такое случалось с солдатами, на свете не осталось бы ни одного солдата. Мы бы ушли в холмы к гоблинам. Обручились с русалками. Никогда бы не покинули свои дома.

Я оставил Патрика получать второе причастие и вышел в морозную ночь. Полночь еще не наступила. Колокола не звонили; еще не взлетели в небо ракеты, возвещая приход нового года и славя Бога и Императора.

Год кончился, сказал я себе. Неслышно ускользнул и больше не вернется. Домино прав, есть только «сейчас». Забудь. Забудь. Ты не можешь вернуть прошлое. Не можешь вернуть мертвых.

Говорят, что каждая снежинка неповторима. Если это так, то как жить дальше миру? Как нам встать с колен? Как прийти в себя после этого чуда?

Забывая. Мы не можем помнить все.

Есть только настоящее. Помнить нечего.

Сквозь иней на каменных плитах просвечивал квадрат, нарисованный красным портновским мелком. Какой-то ребенок играл в «крестики-нолики». Ты играешь, выигрываешь, играешь, проигрываешь. Играешь. Желание играть неистребимо. Из года в год бросая кости и ставя на кон то, что любишь, риском своим ты являешь то, что ценишь. Я присел и нацарапал на льду квадрат с невинными ноликами и гневными крестиками. Возможно, моим партнером станет Дьявол. Возможно, Царица Небесная. Наполеон, Жозефина. Если суждено проиграть, то какая разница, кому проиграл?

Из церкви донесся рев последнего гимна.

Он не имел ничего общего с вялыми гимнами, которые прихожане расппевают монотонным воскресным утром, с тоской думая о лишнем часе сна или своих любимых. Не имел ничего общего с пресными воззваниями к требовательному Богу. Дух любви и веры вздымался до купола, распахивал настежь двери, согревал холодный пол, заставлял камни вопиять. Церковь дрожала.

Моя душа воистину славил Господа.

Что доставляло им такую радость?

Что заставляло голодных, замерзших людей верить, что новый год будет лучше предыдущего? Сознание того, что Он на троне? Он, их маленький Бог в простом мундире?

Какая разница? Зачем я сомневаюсь в том, что вижу собственными глазами?

По улице идет женщина с непокрытой головой, каблуки ее ботинок высекают изо льда оранжевые искры. Она смеется. Прижимает к груди младенца. И идет прямо ко мне.

— С Новым годом, солдат!

Младенец не спит, тарасит ясные голубые глазенки, выпрастывает из-под одежды любопытные пальчики, тянет их к пуговицам, к своему носу, ко мне. Я обнимаю обоих, и на стене покачивается странная тень. Гимн допели, и тишина застаёт меня врасплох.

Младенец срыгивает.

Затем через Ла-Манш летят ракеты, и из лагеря, до которого отсюда две мили, доносится радостный рев. Женщина отстраняется, целует меня, и ее рассыпающиеся искры каблуки исчезают в темноте. Царица Небесная, не оставь ее.

А вот и они, несущие в сердцах Бога следующего года. Идут рука об руку, переваливаются; кто-то

бежит, кто-то размашисто шагает, как гость, опаздывающий на свадьбу. В дверях церкви появляется кюре, останавливается на пороге, залитый светом; служки в багряных ризах прикрывают свечи от ветра. Я стою на другой стороне улицы и в дверном проеме вижу проход и алтарь. Церковь пуста; лишь Патрик стоит спиной ко мне у самого престола. Когда выходит и он, неистово звонят колокола и по меньшей мере десяток незнакомых женщин обнимают и благословляют меня. Мужчины еще стоят у церкви, кучками по пять-шесть человек, а женщины берутся за руки, перекрывая огромным хороводом всю улицу. Они начинают танцевать, кружиться и кружатся все быстрее, пока у меня не темнеет в глазах. Я не знаю этой песни, но поют они громко.

Овладевая моей душой.

Где бы ни скрывалась любовь, я хочу ее найти. Я последую за ней и найду. Точно, как пресноводный лосось находит дорогу к морю.

— Выпей-ка, — сказал Патрик, протянув мне бутылку. — В другой раз не будет.

— Где ты ее взял? — Я понюхал пробку — круглую, спелую, чувственную.

— За алтарем. Лучшую капельку они приберегают для себя.

В лагерь мы возвращались пешком, встретили компанию солдат — они несли своего товарища, который в честь Нового года бросился в море. Малый не утонул, но замерз так, что не мог говорить. Они тащили его в бордель, чтобы отогреть.

Солдаты и женщины. На этом стоит мир. Любая другая роль временна. Любая другая роль — всего лишь жест.

Ту ночь мы провели в кухонной палатке, уступив немислимому для здешних мест лютому морозу. Впрочем, холода мы не ощущали. Когда телу приходится слишком много терпеть, оно закрывается и тихонько продолжает жить, ожидая лучших времен; человек цепенеет и впадает в спячку. Окруженные замерзшими телами пьяных, погрузившихся в спячку до будущего года, мы допили вино и коньяк и сунули ноги под мешки с картошкой, стянув с себя лишь сапоги. Я прислушивался к мерному дыханию Патрика — время от времени он сбивался на храп. Ушел в свой мир гоблинов и сокровищ, уверенный, что всегда найдет клад, даже если то будет всего лишь бутылка кларета, спрятанная за алтарем. Возможно, Царица Небесная все же заботилась о нем.

Я лежу без сна, пока не начинают кричать чайки. С Новым, тысяча восемьсот пятым годом. Мне двадцать лет.

ДАМА ПИК

На свете есть город, окруженный водой, с каналами вместо улиц, с задворками, затянутыми илом, по которым могут передвигаться только крысы. Стоит сбиться с пути — что здесь немудрено — и на вас уставятся сотни глаз, стерегущих покрытый плесенью дворец из мешков и костей. Стоит найти путь — что также немудрено — и вы увидите старуху, стоящую в дверях. Она предскажет вам судьбу, написанную у вас на лбу.

Это город лабиринтов. Вы можете ходить откуда-то куда-то каждый день, но никогда не пройдете тем же путем. А если удастся, то лишь по ошибке. Чутье ищейки здесь не поможет. Умение пользоваться компасом подведет. Советы, которые вы уверенно дадите пешеходам, заведут их на площади, о которых они и не слыхивали, и заставят переходить каналы, которых нет ни на одной карте.

Хотя то место, куда вы направляетесь, всегда перед вами, двигаться прямо здесь невозможно. До кафе на другом берегу канала не пролететь по прямой даже вороне. Кратчайшим путем ходят кошки, перепрыгивая через огромные пропасти и сворачивая в переулки, которые, на первый взгляд, ведут в обратную сторону. Но здесь, в этом непостоянном городе, от тебя требуется вера.

С верой возможно все.

Говорят, обитатели этого города умеют ходить по воде. Говорят и вовсе невероятное: у них ступни

с перепонками. Но не у всех. Только у потомственных лодочников.

Вот что гласит легенда.

Если жена лодочника зачинает дитя, она дожидается тихой ночи и полной луны, когда на улицах нет зевак. Берет лодку мужа и гребет к ужасному острову, на котором хоронят мертвых. Оставляет на носу лодки веточку розмарина, чтобы бесплотные души не могли вернуться вместе с ней, и спешит к могиле родственника, усопшего последним. Привозит с собой подношения: фляжку вина, прядь волос мужа и серебряную монету. Нужно оставить их на могиле и попросить чистой души, если ребенок окажется девочкой, и ступни лодочника, если дитя будет мальчиком. Нельзя терять ни минуты. Она должна вернуться домой до рассвета, после чего лодку следует покрыть слоем соли и оставить на день и ночь. Именно так лодочники хранят свои секреты и свое ремесло. Ни один чужак не может соперничать с ними. И ни один лодочник не снимет при вас обувь, что бы вы ни сулили ему. Мне доводилось видеть приезжих, кормивших рыб бриллиантами, но ни разу не доводилось видеть лодочника без сапог.

Когда-то жил на свете слабый и глупый человек, жена которого чистила лодку, торговала рыбой, растила детей и отправлялась на ужасный остров, когда чувствовала себя в тягости. В их доме было жарко летом, холодно зимой, слишком мало еды и слишком много ртов. Этот лодочник, возивший приезжих из одной церкви в другую, однажды случайно разговорился с каким-то человеком, и тот спросил его о ступнях с перепонками. Одновременно человек этот вытащил из кармана кошелек с золотом и тихо оставил его лежать на дне гондолы. Приближалась зима, лодочник был голоден и подумал: не случится ничего страшного, если я расшнурую один сапог и дам гостю глянуть на то, что внутри. На следующее утро лодку поймали два священника, шедшие к мессе. Приезжий бормотал что-то неразборчивое и теребил руками пальцы ног. Лодочника нигде не было. Приезжего отвезли в сумасшедший дом Сан-Сервело — тихое место, где заботятся о состоятельных и слабоумных. Насколько я знаю, он до сих пор там.

А лодочник?

Он был моим отцом.

Я никогда не видела его, потому что родилась после того, как он исчез.

Через несколько недель моя мать, оставшаяся с пустой лодкой, поняла, что беременна. Хотя ее будущее было неопределенным и в строгом смысле слова она больше не была женой лодочника, мать все же решила соблюсти мрачный обряд и в подходящую ночь молча переплыла лагуну. Когда она привязывала лодку, низко пролетела сова и задела крылом ее плечо. Мать вскрикнула, отшатнулась и случайно сбросила в море веточку розмарина. Какое-то время она раздумывала, не вернуться ли, но пересилила себя, пошла к могиле своего отца и положила на нее дары. Она знала, что последним усопшим был ее муж, но могилы у мужа не было. Как это на него похоже, подумала она: не было его при жизни, нет и после смерти. Совершив свой подвиг, она оттолкнулась от берега, которого избегали даже крабы, а позже насыпала в лодку таким слоем соли, что та утонула.

Должно быть, Пресвятая Дева хранила ее. Еще до моего рождения она снова вышла замуж. На этот раз — за преуспевающего пекаря, который мог позволить себе не работать по воскресеньям.

Час моего рождения совпал с солнечным затмением, и мать делала все, чтобы замедлить роды, пока оно не закончится. Но я была такой же нетерпеливой, как сейчас, и высунула головку, когда повитуха спустилась на кухню согреть молока. Хорошенькую головку с копной рыжих волос и парой глаз, что сиянием своим добавили миру недостающего света.

Девочка.

Роды были легкие, и повитуха держала меня за лодыжки вниз головой, пока я не заревела. Но когда они решили вытереть меня и положили на стол, мать упала в обморок, а повитухе пришлось открыть еще одну бутылку вина.

Ступни у меня были с перепонками.

Сколько жили на свете лодочники, девочки с такими ступнями не рождались никогда. В обмороке мать увидела веточку розмарина и прокляла себя за беспечность. Или же следовало жалеть, что она спуталась с пекарем? После того, как утонула лодка, она ни разу не вспомнила о моем отце. Впрочем, она не слишком думала о нем, и когда лодка была на плаву. Повитуха достала нож с крепким лезвием и предложила срезать непристойные части тела. Мать слабо кивнула, решив, что я ничего не почувствую или лучше вытерпеть минутную боль, чем мучиться всю жизнь. Повитуха попробовала проткнуть прозрачный треугольник между двумя первыми пальцами, однако нож отскочил от кожи, не оставив на ней ни следа. Она снова и снова пыталась разрезать перепонки, но лишь согнула кончик ножа.

— Так хочет Пресвятая Дева, — наконец сказала она, допив бутылку. — Нож здесь бессилён.

Мать зарыдала и заголосила — и продолжала в том же духе, даже когда вернулся отчим. В жизни он многое повидал, и ступни с перепонками его ничуть не смутили.

— В башмаках у нее там никто ничего не увидит, а когда дело до мужа дойдет, то он не ногами ее интересоваться станет.

После этого мать слегка успокоилась, и следующие восемнадцать лет мы прожили нормальной семьей.

Но после того, как в 1797 году Бонапарт захватил наш город-лабиринт, мы практически полностью предалися наслаждениям. Что остается людям, которые гордились собой, жили вольной жизнью, но внезапно лишились и того и другого? Мы стали зачарованным островом для всех безумцев, богачей, извращенцев, скучающих и пресыщенных. Дни нашей славы миновали, зато излишества только начинались. Этот человек из каприза снес наши церкви и похитил наши сокровища. Эта его баба украла драгоценности для своей короны из нашего собора Святого Марка. Хуже того, он забрал наших живых лошадей, отлитых людьми, руки которых тянулись от Дьявола к Богу и заключали саму жизнь в бронзовые объятия. Украл их из Базилики и поставил посреди какой-то наскоро разбитой площади в Париже, этой вавилонской блуднице.

Я любила четыре церкви, что смотрели через лагуну на тихие островки, разбросанные вокруг. Он снес их ради того, чтобы разбить народный сад. Сдался нам этот народный сад. Если бы мы захотели разбить его сами, то никогда не засадили бы его рядами сосен, будто сотнями солдат в строю. Говорят, Жозефина разбирается в ботанике. Неужели не могла подыскать для нас что-нибудь позкзотичнее? Я не испытываю к французам ненависти. Моему отцу они нравятся. Они поддержали его дело своей любовью к дурацким пирожным.

Имя он тоже дал мне французское.

Вилланель. Звучит неплохо.

Я не испытываю ненависти к французам. Просто не замечаю их.

Когда мне исполнилось восемнадцать, я начала работать в Игрном доме. На свете не так уж много профессий для девушки. Я не хотела работать в пекарне и на старости лет остаться с красными руками, толстыми, как окорока. По известным причинам, стать танцовщицей я тоже не могла, а лодочное дело — единственное ремесло, которым я бы занималась с удовольствием — заказана мне, потому что я девушка.

Иногда я брала лодку, часами плавала по каналам и даже выходила в лагуну. Я изучила все секреты лодочников — помогли инстинкт и наблюдательность.

Если я видела, что нос лодки заходит в негостеприимный черный канал, то неизменно плыла в ту сторону и находила в городе город, о существовании которого знали немногие. В этом внутреннем городе живут воры, евреи и дети с раскосыми глазами, сироты без матерей и отцов, пришедшие откуда-то из восточных пустынь. Они рыщут стаями, как кошки или крысы, и охотятся на ту же добычу. Никто не знает, откуда они берутся и какой зловещий корабль их привозит. Кажется, они умирают лет в двенадцать-тринадцать, но им всегда находится замена. Я видела, как они бросаются друг на друга с ножом из-за тухлой куриной тушки.

Тут есть и изгнанники. Мужчины и женщины, выставленные из своих великолепных дворцов, окна которых смотрят на сверкающие каналы. Мужчины и женщины, которые в официальных парижских списках значатся мертвыми. С ними здесь — случайное золотое блюдо, которое они успели сунуть в мешок перед бегством. Они живы, покуда евреи принимают его в заклад, покуда золото еще держится. Когда видишь труп, плывущий брюхом вверх, то понимаешь, что золото стерлось.

В этом немом городе до сих пор живет женщина; когда-то она владела целой флотилией кораблей, стаяй кошек, торговала специями. Не могу сказать, сколько ей лет: волосы позеленели от плесени, покрывающей стены уголка, в котором она сейчас живет. Она питается мусором, который оставляет на камнях вялый и склизкий прилив. У нее нет зубов. Зубы ей не нужны. Она по-прежнему одета в шторы, которые, уходя, сняла с окна своей гостиной. Закутывается в одну штору, а другую плащом набрасывает на плечи. И спит в них.

Я разговаривала с нею. Заслышав, что мимо ее уголка проплывает лодка, она спрашивает, какое сейчас может быть время дня. Но никогда не спрашивает, который час; для этого у нее слишком философский склад ума. Как-то раз я увидела ее вечером. Ее волосы упыря освещала лампа, тоже оставшаяся у нее. Она разложила на тряпке какие-то тухлые куски мяса. Рядом стояли винные бокалы.

— У меня званый обед! — крикнула она, когда я проплывала мимо. — Я бы позвала и тебя, но не знаю твоего имени!

— Вилланель! — крикнула я в ответ.

— Ты венецианка, но имя свое носишь, как маску. Берегись костей и карт.

И она отвернулась к своей тряпице. Эта встреча была не последней, но она никогда не называла меня по имени и не подавала виду, что узнает меня.

Я пошла работать в Игорный дом. Метала кости, раздавала карты и вытаскивала кошельки из карманов, когда могла. Каждый вечер здесь выпивали целый погреб шампанского, а на тех, кому было нечем платить, спускали злого голодного пса. Я переодевалась мальчиком, потому что так нравилось посетителям. Таковы правила игры: угадывать, какой пол скрывается под штанами в обтяжку и необычно раскрашенным лицом...

Был август. День рождения Бонапарта и жаркая ночь. На площади Святого Марка устроили праздничный бал, хотя непонятно, что тут праздновать нам, венецианцам. Однако по нашему обычаю, бал должен быть маскарадом; из Игорного дома вынесли на улицу столы и поставили палатки для гадалок. Город наводнили искатели развлечений из Франции и Австрии. Как всегда, было полно чудаковатых англичан. Попалась даже компания русских, настойчиво искавших удовольствий. Что-что, а удовлетворять гостей мы умеем. Цена-то высока, но удовольствие того стоит.

Я выкрасила губы киноварью и густо набелила лицо. Мушку рисовать не стала: хватало своей. Надела желтые штаны с лампасами, которые носила в Игорном доме, и пиратскую рубашку, скрывавшую грудь. Таковы требования; усы я добавила для собственного удовольствия. Или для собственной безопасности. В карнавальные ночи слишком много темных закоулков и пьяных рук.

На не имеющей себе равных площади, которую Бонапарт презрительно называл лучшей гостиной Европы, наши инженеры соорудили деревянную раму, под завязку набитую порохом. В полночь должен был начаться фейерверк, и я надеялась на богатую добычу. Когда все смотрят в небо, никто не следит за карманами.

Бал начался в восемь; я сдавала карты в игорной палатке.

Дама пик — выигрыш. Туз треф — проигрыш. Сыграй еще. Что ставишь на кон? Часы? Дом? Любовницу? Мне нравится запах азарта. Он витает вокруг самых спокойных, самых богатых. Нечто среднее между страхом и сексом. Думаю, так пахнет страсть.

Один мужчина приходит в Игорный дом почти каждую ночь, чтобы сыграть со мной. Грузный, с жирными руками, похожими на колбаски из теста. Когда он подходит сзади и стискивает мою шею, его потные ладони издают писк. Я всегда ношу с собой носовой платок. На мужчине зеленая жилетка; он снимает сюртук и остается в ней, поскольку не может не следить, как падают кости. Он богат. Должно быть, богат, потому что за секунду тратит столько, сколько я зарабатываю за месяц. И достаточно хитер, несмотря на все безумие за игровым столом. Большинство мужчин, когда выпьют, начинают хвалиться своими карманами или кошельками: хотят, чтобы все знали, как они богаты, как жирны от золота. Этот — не таков. Носит кошелек за поясом штанов и залезает в него, поворачиваясь спиной к остальным. Такой мне никогда не вытащить.

Не знаю, есть ли у него в штанах что-нибудь еще.

Он думает то же самое обо мне. Я вижу, как он то и дело косится на мою ширинку, и специально надеваю гюльфик, чтобы подразнить его. Груды у меня маленькие, ложбинки меж ними нет, а для девушки я достаточно высока. Тем более — для венецианки.

Интересно, что бы он сказал, если б увидел мои ступни.

Сегодня на нем выходной костюм, усы сверкают. Я веером раскидываю перед карты, собираю колоду, тасую и раскидываю снова. Он выбирает. Недобор. Выбирает еще раз. Перебор. Плати. Он смеется и бросает на стол серебряную монету.

— Два дня назад у тебя усов не было.

— Я из волосатой семьи.

— Тебе идет. — Его глаза блуждают, как обычно, но я за столом, и ничего не разглядеть. Он достает еще одну монету. Я сдаю. Валет червей. Карта зловещая, но он так не считает: обещает вернуться и забирает валета с собой — на счастье. Зад распирает на нем сюртук. Они всегда забирают карты с собой. Я размышляю, что лучше: достать новую колоду или надуть следующего клиента. Все будет зависеть от того, кто им станет.

Я люблю ночь. Давным-давно, когда Венеция имела свой календарь и смотрела на остальной мир свысока, сутки начинались с наступлением темноты. Что нам солнце, если вся торговля, все тайны и вся дипломатия зависят у нас от темноты? Темнота — та же маска, а Венеция — город масок. В те дни (не могу сказать точно, когда, потому что время связано с солнечным светом) — в те дни мы открывали двери после захода солнца и скользили по извилистым каналам, поставив на нос каждой лодки свечу с колпачком. Тогда все лодки были черны и не оставляли следа на воде. Мы торговали благовониями и шелком. Изумрудами и бриллиантами. Занимались государственными делами. Строили мосты — но не для того, чтобы не ходить по воде. Это было бы слишком просто. Мост — место встреч. Ничье. Случайное. На мосту встретятся враги и на краю бездны покончат со ссорой. Один перейдет на другую сторону. Второй не вернется. Для влюбленных мост — возможность, метафора будущего. И где лучше сторговываться шепотом о не называемом вслух товаре, как не на мосту глухой ночью?

Мы — народ философов, мы знаем, что такое жадность и желание, мы держит за руки Дьявола и Бога. И не хотели бы отпускать чью-либо руку. Такой живой мост искушает каждого; здесь можешь либо потерять душу, либо найти ее.

А что есть наши души?

Сиамские близнецы.

В наше время тьма не так непроницаема, как прежде. Повсюду взлетают ракеты; солдатам нравятся ярко освещенные улицы, нравится видеть отражения в каналах. Они не доверяют нашей легкой поступи и тонким стилетам. И все же темноту еще можно найти; она прячется в заброшенных каналах и лагуне. Нигде нет такой темноты. Она мягка на ощупь и тяжела на вес. Можно открыть рот и вдыхать ее, пока в животе не свернется тугой клубок. В ней можно плавать, хитрить и обманывать. Ее можно открыть, как дверь.

У венецианцев прежних времен были кошачьи глаза, способные видеть в кромешной мгле; они могли пробираться непроходимыми путями, не споткнувшись ни разу. Если как следует присмотреться, даже сейчас можно заметить: у некоторых из нас при дневном свете глаза превращаются в щелки.

Когда-то я думала, что темнота и смерть — одно и то же. Что смерть — отсутствие света. Всего лишь царство теней, где люди покупают, продают и любят так же, как при жизни, но не столь убедительно. Похоже, ночь — более преходяща, нежели день, особенно для влюбленных, да и не так надежна. Поэтому ночь итожит нашу жизнь, ненадежную и преходящую. Днем мы забываем об этом. Днем мы живем себе и живем. Но нас окружает зыбкий город, где дороги и лица лишь кажутся знакомыми. Именно так будет после смерти. Мы будем всегда узнавать людей, с которыми никогда не встречались.

Но темнота и смерть — не то же самое.

Первая преходяща, вторая нет.

Наши похороны — события просто сказочные. Мы совершаем их ночью, возвращаясь к нашим темным корням. Черные лодки скользят по воде, и гроб украшен крестом из черного янтаря. Однажды я видела из окна моей комнаты, которое смотрит на перекресток двух каналов, как в лагуну выплывал траурный кортеж богача из пятнадцати гондол (число должно быть нечетным). Одновременно в лагуну вышла лодка бедняка с гробом — не лакированным, а просмоленным. В ней плыла старуха, которой едва хватало сил двигать веслами. Я думала, они столкнутся, но гондольеры богача отплыли в сторону. Его вдова взмахнула рукой, одиннадцатая гондола отстала, освободив место для бедняка, на нос его лодки накинули канат, и старухе осталось только рулить. Кортеж продолжил свой путь к ужасному острову Сан-Микеле, и я потеряла его из виду.

Если мне придется умереть, я предпочту умереть одна, вдаль от мира. Мне бы хотелось умереть в мае — лежать на теплом камне, пока меня не оставят силы, а потом тихо кануть в канал. В Венеции такое еще возможно.

В наши дни ночь предназначена для искателей удовольствий, и сегодня, по их мнению, — время самое лихое. У нас есть пожиратели огня, изрыгающие изо рта пену желтых языков пламени. Есть танцующий медведь. Есть труппа маленьких девочек с розовыми безволосыми телами — они разносят засахаренный миндаль на медных блюдах. Есть женщины на любой вкус — и не все из них женщины. В центре площади мастера с острова Мурано установили огромную хрустальную туфлю, которая

постоянно наполняется шампанским. Нужно лакать как собака, и приезжие это обожают. Один уже утонул, но что такое одна смерть в гуще жизни?

К деревянной раме с затаившимся порохом подвешены сети и трапеции. Акробаты раскачиваются над площадью, отбрасывая на танцующих нелепые тени. Они то и дело ныряют, держась за трапецию ногами, и мимолетно целует кого-нибудь внизу. Мне нравятся такие поцелуи. Простое соприкосновение ртов оставляет тело свободным. Для хорошего поцелуя ничего больше не нужно. Ни соединенных рук, ни сбивчивых сердец. Наслаждение — губы и только губы. Страсть приятнее разбирать прядь за прядью. Разделять и снова разделять, как ртуть, которая собирается только в последний момент.

Теперь вам понятно, что в любви я не новичок.

Уже поздно — кто же придет сегодня с маской на лице? Рискнет ли она вытянуть карту?

Приходит. Держит на ладони монету, предлагая мне взять ее. У женщины теплая кожа. Я раскидываю карты. Она выбирает. Десятка бубен. Тройка треф. А затем — дама пик.

— Счастливая карта. Символ Венеции. Вы выиграли.

Она улыбнулась мне и сняла маску. У нее серо-зеленые глаза с золотистыми крапинками. Высокие нарумяненные скулы. Волосы рыжие, но темнее моих.

— Сыграете еще?

Она покачала головой и велела официанту принести бутылку шампанского. Причем не любого. «Мадам Клико». Хорошо во Франции только оно. Женщина молча подняла бокал и выпила — очевидно, за свою удачу. Дама пик — большой выигрыш, но мы стараемся избегать этой карты. Женщина по-прежнему не говорила не слова, следя за мной сквозь хрусталь, а потом вдруг допила и погладила меня по щеке. Это длилось лишь секунду. Она исчезла, оставив мне сердце, колотящееся в грудь и три четверти бутылки лучшего шампанского. Пришлось прятать и то, и другое.

Я практична в любви и получала удовольствие как с мужчинами, так и с женщинами, но никогда не нуждалась в стороже своему сердцу. Сердце — орган надежный.

В полночь подожгли порох, и небо над площадью Святого Марка разбилось на миллион разноцветных кусков. Фейерверк длился около получаса, и за это время я сумела выудить из карманов достаточно денег, чтобы подкупить подругу, которая присмотрит за моей палаткой. Я пробилась сквозь толпу к хрустальной туфле с пузырившимся шампанским, ища свою женщину.

А она исчезла. Лица, платья, маски, поцелуи и объятия на каждом шагу — но ее не было. Меня задержал пехотинец: он держал два хрустальных яйца и спрашивал, не соглашусь ли я обменять их на свои. Но настроения для флирта у меня не было; я протиснулась мимо него, и глаза мои отчаянно разыскивали хоть какой-нибудь знак.

Стол для рулетки. Стол для азартных игр. Гадалки. Чудо природы — женщина с тремя грудями. Поющая обезьяна. Быстрые домино и таро.

Ее там не было.

Не было нигде.

Время вышло, и я снова вернулась в палатку. Внутри у меня плескалось шампанское и пустое сердце.

— Тебя искала какая-то женщина, — сказала подруга. — Оставила вот это.

На столе лежала сережка. Судя по фасону — древнеримская, необычной формы, сделанная из благородного старого желтого золота, не дожившего до наших дней.

Я вдела ее в ухо, раскинула карты веером и вынула из колоды даму пик. Никто сегодня больше не выиграет. Я буду хранить эту карту до тех пор, пока она ей не понадобится.

Веселье быстро стареет.

В три часа ночи гуляки разбрелись сквозь арки, окружавшие площадь Святого Марка, или кучами валялись у кафе, что открывались рано, дабы напоить их крепким кофе. Азартная игра закончилась. Крупье из Игорного дома снимали свою мишуру и обманчивое веселое сукно. Приближался рассвет; у меня был выходной. Обычно я иду прямо домой и встречаю отчима по пути в пекарню. Он хлопает меня по плечу и отпускает какую-нибудь шутку о том, сколько я заработала. Станный он человек: только пожмет плечами и подмигнет, вот и все. Никогда не удивляется, что дочь зарабатывает себе на жизнь, переодеваясь в мужское платье и продавая из-под полы срезанные кошельки. Впрочем, он не удивлялся и тому, что дочь родилась с перепонками.

— На свете есть и более странные вещи, — говорит он.

Наверное, он прав.

Но в то утро я не иду домой. Сна у меня ни в одном глазу, ноги не знают покоя. Поэтому лучше взять лодку и успокоиться на венецианский манер: на воде.

Канале-Гранде уже забит лодками зеленщиков. Кажется, на прогулку выплыла я одна, и остальные посматривают на меня с любопытством, укрепляя груз или споря с приятелем. Это свои люди; пусть смотрят, если хочется.

Я проплываю под Риальто, этим странным полумостом; его можно поднимать, чтобы одна половина города не воевала с другой. Возможно, когда-нибудь его закрепят намертво, и тогда мы все станем братьями и матерями. Но парадокс будет обречен.

Мосты не только соединяют, но и разделяют.

А теперь дальше, мимо домов, клонящихся к воде. Мимо Игрного дома. Мимо лавок ростовщиков, церквей и государственных зданий. В лагуну, где с тобой лишь ветер и чайки.

В веслах есть какая-то надежность: одно поколение за другим стояли точно так же и гребли точно так же, легко и размеренно. Этот город усеян призраками, и они опекают своих. Что за семья, если у нее нет предков?

Наши предки. Наша родня. Будущее определяется прошлым; оно возможно только потому, что есть прошлое. Без прошлого и будущего настоящее неполно. Время едино; оно вечно остается настоящим и именно поэтому принадлежит нам. В забвении нет смысла, но зато он есть в мечтах. Так обогащается настоящее. Так оно делается целым. В то утро, когда прошлое гребло со мной бок о бок, я видела, как на глади лагуны блестит будущее. Видела в воде свое искаженное отражение и понимала, какой могу стать.

Если я найду ее, как сложится мое будущее?

Я найду ее.

Страсть — нечто среднее между страхом и сексом.

Страсть — не столько чувство, сколько судьба. На этом ветру мне оставалось лишь одно — смириться с печалью и уронить весла.

Занимается рассвет.

Следующие недели прошли в лихорадочном оцепенении.

Неужели такое бывает? Бывает. Это состояние очень напоминает некое умственное расстройство. Я видела таких в Сан-Сервело. В постоянном стремлении к деятельности, как правило — бессмысленной. Тело требует движения, но разум пуст.

Я ходила по улицам, плавала вокруг Венеции, просыпалась посреди ночи; простыни скручивались невероятными жгутами, мышцы болели. Я работала в Игрном доме по две смены, днем в женском платье, вечером — в мужском. Ела то, что ставили мне под нос, и засыпала, когда тело начинало ныть от изнеможения.

Я худела.

Тупо смотрела в пространство и забывала, куда иду.

Мерзла.

Я никогда не хожу к исповеди. Господь не хочет, чтобы мы исповедовались; он хочет, чтобы мы бросали ему вызов. Но когда-то я посещала церкви, потому что их строили по велению сердец. Станных сердец, которых я раньше не понимала. Сердец, полных экстаза, что до сих пор заставляет вопиять эти старые камни. Это теплые церкви, выстроенные на солнце.

Я сидела на задних скамьях, слушала музыку или бормотала службу. Бог никогда меня не соблазнял, но мне нравятся его хитрости. На меня они не действуют, но я начинаю понимать, что в них находят другие. Разве могут быть на свете безопасные места, если внутри — такое грозное чувство, такая необузданная любовь? Где ты хранишь порох? Как умудряешься спать по ночам? Будь я хоть чуть-чуть другой, я бы превратила страсть в нечто священное — и только тогда смогла бы уснуть. Экстаз остался бы при мне, но я бы уже не боялась.

Мой тучный приятель, наконец понявший, что я женщина, предложил мне руку и сердце. Обещал содержать меня в богатстве и роскоши, если в его доме я буду, как и прежде, одеваться мальчиком. Это ему нравится. Обещал специально заказывать мне усы и гольфики, и мы будем здорово веселиться вместе — играть в кости и пьянствовать. Мне захотелось всадить в него нож прямо

посреди Игорного дома, но венецианский прагматизм взял верх, и я подумала: почему б не поиграть? Как мне еще облегчить боль того, я никогда больше не найду ее?

Меня всегда интересовало, откуда у него деньги. Наследство? Или мать до сих пор оплачивает его счета?

Нет. Он их зарабатывает. Снабжает французскую армию мясом и лошадьми. Мясом, от которого, как он мне говорит, отвернется и кошка, и лошадьми, на которых не сядет ни один нищий.

Но как ему это сходит с рук?

Больше никто не может поставить такого количества товара, притом — так быстро. Едва ему поступает приказ, товар отправляется в путь.

Похоже, Бонапарт либо выигрывает битвы быстро, либо не выигрывает вовсе. Таков его стиль. Ему требуется не качество, а действие. Требуется, чтобы люди совершали многодневные марш-броски, а потом несколько дней сражались. Требуются лошади для одной-единственной атаки. Этого достаточно. Какая разница, что лошади хромают, а люди отравлены, если они продержаться, пока в них не отпадет нужда?

Стало быть, я выхожу замуж за мясника.

Я разрешаю ему поить меня шампанским. Но только самым лучшим. Я не пробовала «Мадам Клико» с той жаркой августовской ночи. Когда язык и горло ощущают вкус шампанского, во мне просыпаются другие воспоминания. О единственном прикосновении. Как может нечто столь мимолетное быть столь могущественным?

Но Христос сказал «следуйте за мной», и этого оказалось довольно.

Погрузившись в эти мечты, я не ощущала, как его ладонь касается моей ноги, пальцы ласкают живот. Но мне ярко представились кальмары, их присоски, и я стряхнула его руку, закричала, что не выйду ни за него, ни за всю «Вдову Клико», что есть во Франции, ни за все усы и гульфики, что есть в Венеции. Роба у него всегда была багровая, поэтому трудно сказать, обиделся он или нет. Поднялся с колен, одернул жилет и спросил, хочу ли я сохранить работу.

— Я сохраню работу, потому что хорошо с ней справляюсь, а такие клиенты, как вы, приходят сюда каждый день.

Тогда он меня ударил. Не сильно — но меня это потрясло. Раньше меня ни разу не били. Я ударила его в ответ. Сильно.

Он засмеялся, подошел ко мне и крепко прижал к стене. Казалось, меня похоронила под собой куча рыбы. Я не пыталась вырваться: во-первых, он был вдвое тяжелее; во-вторых, я не героиня. Впрочем, терять мне было нечего; я все потеряла в другие, более счастливые времена.

Он оставил пятно на моей рубашке и на прощание швырнул в меня монетой.

Чего еще ждать от мясника?

Я снова вернулась к костям и картам.

Ноябрь в Венеции — начало сезона катаров. Катары — такая же часть нашего наследия, как и Святой Марк. Давным-давно, когда в городе таинственно правил Совет Трех, объявляли, что какой-нибудь предатель или просто несчастный, от которого нужно было избавиться, умер от катара. От этого никому не становилось неловко. Проклятую болезнь приносит туман с лагуны, столь плотный, что с одного конца Площади не видно другого. Тоскливо и тихо начинается дождь; гондольеры сидят под мокрыми балдахинами и беспомощно смотрят в воду каналов. Такая погода отпугивает иностранцев, и в том ее единственное достоинство. Даже разноцветная пристань у театра «Ла Фениче» становится серой.

Когда я была не нужна ни Игорному дому, ни самой себе, я заходила к Флориану выпить и поглазеть на Площадь. Нужно как-то убивать время.

Прошло около часа; внезапно, я почувствовала, что за мной наблюдают. Соседние столики пустовали, но кто-то сидел за ширмой неподалеку. Я не стала задумываться: какая разница? Либо мы следим, либо следят за нами. Ко мне подошел официант с пакетиком в руке.

Я открыла пакетик. Там лежала сережка. Парная.

Женщина остановилась рядом, и тут я поняла, что одета так же, как в ту ночь: сегодня я собиралась на работу. Я прикрыла рукой верхнюю губу.

— Ты сбрил усы, — сказала она.

Я улыбнулась. У меня перехватило дыхание.

На следующий вечер она пригласила меня поужинать. Я приняла приглашение и записала адрес.

В ту ночь в Игорном доме я пыталась решить, что делать. Она принимает меня за юношу. Но я не юноша. Может, показаться ей в своем настоящем облике, посмеяться над недоразумением и изящно уйти? От этой мысли у меня сжалось сердце. Найти и тут же потерять? Да и что такое я сама?

Неужели штаны в обтяжку и мужские сапоги менее реальны, чем подвязки? Что привлекло ее ко мне?

Ты играешь, выигрываешь. Играешь, проигрываешь. Играешь.

Я была осторожна и украла ровно столько, чтобы хватило на бутылку лучшего шампанского.

Когда доходит до дела, влюбленные редко оказываются на высоте. Во рту пересыхает, ладони потеют, беседа не клеится, а сердце так и норовит навсегда вылететь из груди. Известно, что влюбленные склонны к сердечным приступам. Они нервничают, слишком много пьют и ничего не могут с собой поделаться. Слишком мало едят, а когда доходит до желанного свидания, падают в обморок. Не глядят любимую кошку и небрежно накладывают грим. Но этого мало. Не так пойдет все, на что возлагаешь надежды: одежда, ужин, стихи.

Дом у нее был восхитительный — на берегу тихого канала, модный, но не вульгарный. В огромной гостиной с просторными окнами на четыре стороны и камином, в котором поместился бы ленивый волкодав. Обставлена просто: овальный стол, шезлонг. Несколько китайских безделушек — она собирала их, когда в порт заходили суда. Кроме того, у нее была странная коллекция мертвых насекомых в рамочках за стеклом. Раньше я никогда не видела таких вещей и не понимала, что в них хорошего.

Ведя меня по комнатам, она держалась очень близко, показывала картины и книги. Взяла меня за локоть и провела наверх, а за ужином посадила рядом, так что между нами стояла лишь бутылка.

Мы говорили об опере, театре, приезжих, погоде и о самих себе. Я сказала, что мой настоящий отец был лодочником; она засмеялась и спросила, правда ли, что ступни у нас — с перепонками.

— Конечно, — сказала я, и она рассмеялась этой шутке.

Мы поели. Бутылка опустела. Она рассказала, что вышла замуж поздно и не слишком охотно, поскольку всегда была упряма, а доход у нее свой. Ее муж торговал редкими книгами и рукописями, привезенными с Востока. Старинными картами с обозначениями берлог грифонов и убежищ китов. Картами с обозначенными на них кладами — они утверждали, что там захоронен Святой Грааль. Муж был спокойным, культурным человеком, и она его любила.

Сейчас он в отъезде.

Мы поели, бутылка опустела. Темы светских бесед исчерпаны; оставалось только повторять сказанное. Наступила неловкая пауза. Я пробыла у нее больше пяти часов; пришло время откланяться. Мы встали, она двинулась за чем-то, а я лишь протянула руку, только и всего, и тут она кинулась ко мне, и ладони мои легли на ее лопатки, а ее руки обхватили мою спину. Мы стояли так несколько мгновений; а потом я осторожно коснулась губами ее шеи. Она не отстранилась. Тут я набралась смелости, поцеловала ее в губы и слегка прикусила нижнюю.

Она поцеловала меня.

— Я не могу лечь с тобой в постель, — сказала она.

Облегчение и отчаяние.

— Но я могу целовать тебя.

Вот так, с самого начала, мы разделили наше наслаждение. Она лежала на ковре, я — под прямым углом к ней, встречались только наши губы. Целоваться в такой позе очень странно. Тело, жадно стремящееся к удовлетворению, вынуждено довольствоваться одним-единственным ощущением. У слепых более острый слух, а глухие чувствуют, как растет трава. Так же ведут себя губы. Они становятся средоточием любви; все — в них, все приобретает новый смысл. Сладкая и точная пытка.

Позже я выскользнула из ее дома, но не ушла, а стала следить за тем, как она переходит из комнаты в комнату, гася свет. Она поднималась наверх; позади нее смыкалась темнота, пока не остался лишь один огонек — ее собственный. Она говорила, что когда мужа нет, она часто читает перед сном. Но сегодня она не читала. Немного постояла у окна, а потом в доме стало темно.

О чем она думает?

Что чувствует?

Я медленно шла по тихим площадям. Миновала Риальто; над водой стоял туман. Лодки были накрыты и пусты, лишь кошки спали под лавками. Вокруг ни души — даже нищих, что обычно заворачиваются в свое тряпье в каждом дверном проеме.

Как же это получается? Живешь размеренной жизнью, которую слегка презираешь, но в целом доволен ею, а затем вдруг понимаешь, что твердый пол превратился в люк, и оказываешься в совершенно другом месте, география которого неизвестна, а обычаи неведомы.

У путешественников, по крайней мере, есть выбор. Поднимающие парус знают, что в чужих странах все будет иначе. Исследователи готовятся заранее. Но мы, кто путешествует с током крови и оказывается во внутреннем городе случайно, подготовиться не успеваем. Мы, до того говорившие бегло, вдруг понимаем, что жизнь подобна иностранному языку. Оказываемся где-то между болотом и горами. Где-то между страхом и сексом. Страсть лежит между Дьяволом и Богом; путь к ней внезапен, а от нее — горек.

Собственные мысли удивили меня. Я молода, передо мной — весь мир, будут и другие. Впервые со дня встречи с ней я взбунтовалась. Мой первый вызов самой себе. Больше не стану к ней ходить. Приду домой, сброшу эту одежду и куда-нибудь отправлюсь. Могу вообще уехать, если захочу. Наверно, за пару услуг мясник согласится свозить меня в Париж.

Подумаешь, страсть. Плевать мне на нее.

Я плюнула в канал.

Но тут между облаками появилась луна, полная луна, и я подумала о своей матери, которая верила и плыла на ужасный остров.

Поверхность канала — как шлифованный черный янтарь. Я неторопливо развязала шнурки, ослабила их и сбросила сапоги. Между пальцами ног светились мои собственные луны. Бледные и непрозрачные. Почти ненужные. Я часто играла с ними, но не относилась к ним всерьез. Мать никогда не говорила мне, верны ли слухи, а кузенов-лодочников у меня нет. Мои родные братья уплыли.

Могу ли я ходить по воде?

Могу ли?

Я сделала несколько неуверенных шагов к темной воде и остановилась. Ноябрь, как-никак. Если уйду под воду, могу умереть. Я утвердила ступню на поверхности, и нога тотчас погрузилась в холодное ничто.

Может ли одна женщина любить другую дольше одной ночи?

Я шагнула вперед, а наутро, говорят, по Риальто бегал нищий и рассказывал о молодом человеке, который ходил по каналу, как по суше.

Я рассказываю вам байки. Верьте мне.

Когда мы встретились снова, на мне был офицерский мундир. Я его позаимствовала. Точнее, украла.

Вот как это вышло.

Я была в Игорном доме. Давно миновала полночь. Ко мне подошел солдат и предложил необычное пари. Если я сумею выиграть у него в бильярд, он подарит мне кошелек. Солдат потряс им у меня под носом. Кошелек был пухлый и плотно набитый. Должно быть, во мне течет отцовская кровь; против кошелька я устоять не могу.

А если я проиграю? Тогда придется дарить ему свой. Не понять намек было невозможно.

Мы играли; дюжина скучавших игроков подбадривала нас восклицаниями. К моему удивлению, солдат играл хорошо. После нескольких часов в Игорном доме никто ни во что уже хорошо не играет.

Я проиграла.

Мы пошли в его комнату. Солдату нравилось укладывать своих женщин лицом вниз и заставлять их раскидывать руки на манер распятого Христа. Любил он умело и страстно, но вскоре уснул. Оказалось, мы с ним примерно одного роста. Я оставила ему рубашку и сапоги, а остальное унесла.

Она встретила меня, как старого друга, и тут же спросила про форму.

— Ты ведь не в армии.

— Это маскарад.

Я начинала чувствовать себя вторым Сарпи — венецианским священником и дипломатом, который похвалялся, что никогда не лжет и в то же время никому не говорит правды. В тот вечер мы ели, пили, играли в кости, и я несколько раз порывалась все объяснить. Но язык прилипал к гортани, а сердце бурно протестовало.

— Ноги, — сказала она.

— Что?

— Я хочу погладить твои ноги.

Святая Мадонна, только не ноги.

— Я снимаю сапоги только дома. Такая у меня привычка.

— Тогданими рубашку.

Нет, только не рубашку. Если я сниму рубашку, она увидит мои груди.

— Не стоит. Погода очень скверная. У всех катар. Смотри, какой туман.

Я заметила, что она опустила взгляд. Может, считает, что мое возбуждение окажется заметным? Что ей позволить? Колени?

Я наклонилась и поцеловала ее в шею. Она накрыла меня волосами и так приручила меня. Я ощутила ее аромат, а потом, оставшись одна, прокляла свои ноздри за то, что они вдыхают обычный воздух и не могут навечно сохранить ее запах.

Когда я уходила, она сказала:

— Завтра возвращается муж.

Ох...

Когда я уходила, она сказала:

— Не знаю, когда смогу снова увидеть тебя.

Часто ли она так делает? Дождется отъезда мужа и ходит по улицам, разыскивая кого-нибудь, вроде меня? У всех в Венеции есть свои слабости и пороки. Возможно, не только в Венеции. Приглашает ли она их ужинать, не сводит с них глаз и не без печали говорит, что не может лечь с ними в постель? Может, такова ее страсть. Страсть к тому, что препятствует страсти. А я сама? В каждой игре может выпасть не та карта. Непредсказуемая, дикая. Ни твердая рука, ни хрустальный шар не позволяют править миром так, как нам хочется. В море бывают свои бури, а на суше свои. Только окна монастыря безмятежно смотрят на то и другое.

Я вернулась к ее дому и постучала в дверь. Женщина слегка приоткрыла ее. Казалось, она удивилась.

— Я женщина, — сказала я, приподняв рубашку и рискуя подхватить катар.

Она улыбнулась.

— Знаю.

Я не пошла домой. Я осталась.

Церкви готовились к Рождеству. Позолотили каждую Мадонну, покрасили каждого Христа. Священники облачились в золото и пурпур, а благовония пахли особенно сладко. Я ходила на службу дважды в день, чтобы погреться за счет Господа. Мне никогда не стыдно греться. Летом я греюсь на солнышке, сидя на стене или железной крышке какого-нибудь нашего колодца, словно левантийская ящерица. Мне нравится нагретое солнцем дерево; когда удается, я беру лодку и целый день лежу на солнце. Тело расслабляется, мысли текут лениво; может быть, именно об этом говорят святые, когда рассказывают о своих трансх? Я видела святых людей из восточных земель. Их нам показывали как-то раз, чтобы возместить убытки, когда законом запретили травить быков собаками. Тела этих людей гибки, но я слышала, что это от пищи.

Конечно, нежиться на солнышке — никакая не святость, но если результат тот же, какая разница? Не станет же Господь возражать. В Ветхом Завете говорится, что цель оправдывает средства. Мы, венецианцы, народ практичный и хорошо понимаем это.

Сейчас солнце ушло, и приходится нежиться иначе. Греться в церкви можно бесплатно. Здесь радостно и уютно, и можно не обращать внимания на остальное. Рождество — это не Пасха. Я никогда не хожу в церковь на Пасху. Там слишком мрачно, а на улице солнышко.

Если бы мне захотелось исповедаться, в чем бы я покаялась? Что ношу чужое платье? Но то же

делал Господь и до сих пор делают священники.

Что ворую? Но то же делал Господь и до сих пор делают священники.

Что люблю?

Моя любовь на Рождество уехала из города. Они всегда так делают. Он и она. Я думала, что буду переживать, но желудок и грудь у меня были набиты камнями лишь первые несколько дней, а потом я была счастлива. Мне было почти легко. Я виделась со старыми подругами и ходила едва ли не прежней уверенной походкой. Наши тайные встречи прекратились. Больше не нужно выкраивать время. Как-то целую неделю она завтракала по два раза на день. Один раз дома и один со мной. Один раз в гостиной, второй — на Площади. А после обед превращался в пытку.

Она обожает театр, а поскольку мужу зрелища не доставляют никакого удовольствия, она ходит одна. Долгое время она смотрела только первые действия. А в антракте уходила ко мне.

В Венеции полно мальчишек, готовых передать записку в жаждущие руки. В часы, когда нельзя было видаться, мы отправляли друг другу жаркие любовные послания. В часы, когда видаться было можно, наша страсть полыхала вовсю.

Она наряжается для меня. Я всегда видела ее в новых платьях.

Сейчас я предана лишь самой себе. Думаю только о себе, встаю когда хочу, а не просыпаюсь на рассвете только ради того, чтобы посмотреть, как она будет открывать ставни. Флиртую с официантами, игроками и помню, что мне это в радость. Сама себе пою и греюсь в храмах. Может, свобода так восхитительна, ибо редка? Может, отсрочка от любви тем и хороша, что преходяща? Если бы она уехала навсегда, дни эти не доставляли бы никакой радости. Может, я наслаждаюсь одиночеством лишь потому, что она вернется?

Душа, потерявшая надежду, утешается парадоксом: тянется к любимому, но втайне облегченно вздыхает, когда любимого нет рядом. По ночам влюбленный изнывает от тоски, но к завтраку совершенно успокаивается. Жаждет определенности, верности, сочувствия, но играет в рулетку, ставя на кон все, что ему дорого.

Страсть к игре — не порок, а признак того, что мы люди.

Мы играем. Некоторые за карточным столом, некоторые — нет.

Ты играешь, выигрываешь, играешь, проигрываешь. Играешь.

Родился святой младенец. Его мать ликует. Про отца забыли. Поют сонмы ангелов, а Бог сидит на крыше каждой церкви и изливает благословения на все, что внизу. Какое чудо — слиться с Богом, потягаться с ним смекалкой, зная, что выигрываешь и проигрываешь одновременно. Где еще можно без страха стать утонченным страстотерпцем? Лежать, закрыв глаза, под остриями его пик. Где еще можно ощутить собственную власть? Уж, конечно, не в любви.

Он нуждается в тебе больше, чем ты в нем, потому что он обязан тебя завоевать и знает, что случится, если этого не произойдет. Ты же, не знающий ничего, можешь швырять в воздух чепчик и жить себе дальше. Или брести по воде — он не придет тебе на ум, ему некогда: он отмечает силу течения, омывающего твои лодыжки.

Пусть тебя греет это сознание. Что бы ни говорили монахи, вовсе не обязательно вставать рано, чтобы встретиться с Богом. Можно встретить Бога, привольно раскинувшись на церковной скамье. Лишения придумали люди, потому что человек не может существовать без страсти. Религия — где-то между страхом и сексом. А Бог? Если честно? Сам по себе, когда за него не говорят наши голоса? Он одержим, наверное, но не страстен.

Иногда нам снится, что мы пытаемся выбраться из моря желаний в это мирное место по лестнице Иакова. Но людские голоса будят нас, и мы тонем.

В канун Нового года по Канале-Гранде плывет процессия гондол со свечами на носках. У бедных и богатых одна вода и одни мечты — чтобы следующий год был лучше предыдущего. Мои мать и отец раздали буханки хлеба больным и неимущим. Потом отец напился и начал горланить вирши, которым научился во французском борделе. Его еле остановили.

Изгнанники, таящиеся во внутреннем городе, тоже устроили праздник. Каналы там так же темны, как обычно, но если присмотреться, можно заметить в какой-нибудь дыре истрепанный атлас на желтых телах, блеск хрустального кубка. Дети с раскосыми глазами украли козу и мрачно перерезали ей горло. Я видела, когда проплывала мимо. На мгновение они опустили окровавленные ножи, следя за мною взглядом.

Моя подруга-философ сидела на своем балконе — то есть, на паре ящиков, привязанных к железным кольцам в стене по обе стороны ее уголка. На голове у нее красовался какой-то круг, темный и плотный. Она спросила меня, какое сейчас может быть время дня.

— Скоро Новый год.

— Догадываюсь. По запаху.

Она нагнулась к воде, погрузила чашку в канал и сделала несколько глотков. Лишь через несколько минут до меня дошло, что ее корона — из крыс, связанных в кольцо за хвостики.

Евреев я не видела. Сегодня у них свои дела.

Стоял лютый холод. Ветра не было, но ледяной воздух кусал губы и замораживал легкие. Пальцы, державшие весла, окоченели, и я уже подумывала привязать лодку и влиться в толпу, что стремилась на площадь Святого Марка. Но в такую ночь не погреешься. Сегодня по земле ходят призраки мертвых и говорят на языках. Те, кто внемлют, поймут. Сегодня ночью она дома.

Я подгрела к неярко освещенному дому, надеясь увидеть ее тень, руку, хоть что-нибудь. Не повезло, но я представила, как она сидит и читает; рядом стоит бокал вина. Муж, должно быть, — в кабинете, разглядывает новое невероятное сокровище. Карту с Истинным Крестом или тайными ходами к центру земли, где живут огнедышащие драконы.

Я причалила ко входу, вскарабкалась на ограду и заглянула в окно. Она была одна. Не читала, а рассматривала свои ладони. Однажды мы сравнивали ладони. Мои все исчерчены бороздами, а ее, хоть она прожила на свете дольше, остались гладкими, как у младенца. Что хочет она увидеть? Будущее? Следующий год? Пытается понять значение прошлого? Как оно привело к настоящему? Или ищет линию страсти ко мне?

Я была готова постучать в окно, но тут вошел муж, и она вздрогнула. Поцеловал ее в лоб, она улыбнулась. Я наблюдала за ними вдвоем и в одно мгновение поняла больше, чем за целый год. Их жизнь ничем не напоминала ту полыхающую печь, где горели я и эта женщина. Но в ней был покой то, что вонзило мне в сердце нож.

Я вздрогнула от холода и вдруг поняла, что вишу в воздухе у окна второго этажа. Даже влюбленным иногда бывает страшно.

Огромные часы на Пьянце пробили без четверти двенадцать. Я быстро спустилась в лодку и, не чувствуя ни рук, ни ног, выгрела в лагуну. В тишине и безмолвии я думала о собственном будущем. Неужели мы всегда будем встречаться в кафе и поспешно одеваться? Сердце так легко обмануть; оно готово поверить, что солнце может взойти дважды или что розы способны расцвести по нашему желанию.

В этом зачарованном городе возможно все. Время останавливается. Сердца бьются. Законы физического мира перестают действовать. Господь сидит на стропилах и смеется над выходками Дьявола, а Дьявол тычет в Господа хвостом. Так было всегда. Говорят, у лодочников ступни с перепонками, а нищий утверждает, что видел молодого человека, ходившего по воде.

Если ты расстанешься со мною, мое сердце станет водой и утечет прочь.

Мавры на огромных часах воздевают молоты и по очереди наносят удары. Скоро Площадь заполнят толпы людей, их теплое дыхание сгустится, и над головами поплывут облачка. Дыхание вырывается у меня изо рта, как из пасти огнедышащего дракона. От воды несется плач предков, а в соборе Святого Марка вступает орган. Меж льдом и таяньем. Меж любовью и отчаянием. Меж страхом и сексом. Вот где живет страсть. Мои весла плашмя лежат на воде. С Новым, тысяча восемьсот пятым годом.

ЛЮТАЯ ЗИМА

Ограниченных побед не бывает. Каждая победа множит оскорбления, число разгромленных и униженных. Еще где-то люди хоронятся, защищаются и боятся. Пока я не поселился в этом одиноком месте, я понял о войне лишь то, что мне мог бы сказать любой ребенок.

— Анри, ты будешь убивать людей?

— Нет, Луиза. Я буду убивать не людей, а врагов

— А что такое враг?

— Тот, кто не на твоей стороне.

Когда ты завоеватель, на твоей стороне нет никого. Враги занимают больше места, чем друзья. Почему столько обычных людей превращается в тех, кого можно убивать и насиловать? Австрийцы, пруссаки, итальянцы, испанцы, египтяне, англичане, поляки, русские. Все они были нашими врагами или нашими вассалами. Другие тоже были, но перечень и без того слишком длинный.

Мы так и не вторглись в Англию. Совершили марш из Булони, оставив гнить наши маленькие баржи, и кинулись воевать с Третьей коалицией. Мы сражались при Ульме и Аустерлице, Эйлау и Фридланде. Дрались без пайка, без обуви, спали по два-три часа в сутки и каждый день умирали тысячами. Два года спустя Бонапарт стоял на плоту посреди реки, обнимался с русским царем и говорил, что мы больше никогда не будем воевать. «Нам мешают только англичане; теперь Россия на нашей стороне, и англичанам придется оставить нас в покое». Больше никаких коалиций, никаких маршей. Теплый хлеб и поля Франции.

Мы верили ему. Как всегда.

Под Аустерлицем я потерял глаз. Домино ранили, а Патрик, который до сих пор с нами с нами, мало что видит, кроме следующей бутылки. Надо было остановиться. Мне следовало исчезнуть на солдатский манер. Сменить имя, открыть в какой-нибудь тихой деревне лавку, может, жениться.

Я не ожидал, что окажусь здесь. Виды тут красивые, и чайки подлетают к окну и клюют хлеб прямо с руки. Один из нас их варит — но только зимой. Летом в них полно червей.

Зима.

Более лютой зимы нельзя было себе представить.

— Наступаем на Москву, — сказал он, когда царь предал его. Это не входило в его намерения, он стремился к быстрой кампании. Хотел нанести удар России, которая посмела снова выступить против него. Думал, сможет всегда выигрывать битвы, как делал до сих пор. Как цирковая собака, был убежден, что публика будет вечно дивиться его фокусам, но публика к нему привыкла. Русские и не подумали всерьез сражаться с Великой Армией; они продолжали отступать, сжигая за собой деревни. Есть было нечего, спать негде. Они отступали в зиму, а мы следовали за ними. В русскую зиму в летних мундирах. В снега в клееных сапогах. Когда наши лошади умирали от холода, мы разрезали им брюхо и совали в него ноги. У одного лошадь замерзла: когда утром солдат попытался вынуть ноги, они пристыли к окоченевшим кишкам. Мы не смогли освободить беднягу, его пришлось бросить. Он кричал не переставая.

Бонапарт ездил в санях, слал в части отчаянные приказы, пытаясь заставить нас обойти русских хотя бы в одном месте. Но мы не могли обойти их. Мы ходили с трудом.

От спаленных деревень худо было не только нам, но и тем, кто там жил. Крестьянам, жизнь которых подчиняется солнцу и луне. Как мои мать и отец, они принимали каждое время года и ждали урожая. Работали от зари до зари и утешались сказками из Библии и сказками о лесе. Их леса были полны духов, добрых и не очень, но в каждой семье рассказывали сказку со счастливым концом: о том, как дух спас их ребенка или вернул к жизни единственную корову.

Царя они называли «Маленьким Отцом» и почитали, как Бога. В их простоте, как в зеркале, я видел свои чувства; я впервые понял, что так далеко меня завело именно желание обрести маленького отца. Эти люди чтут домашний очаг, запирают двери на ночь, едят густую похлебку и черный хлеб. Поют песни, чтобы не подпускать ближе ночь, и, как мы, зимой забирают животных в дом. Зимой здесь холодно так, что невозможно вытерпеть, а земля становится тверже солдатского тесака. Можно только жечь лучину, ощупью искать еду в погребе и мечтать о весне.

Когда солдаты жгли их деревни, эти люди помогали предавать огню собственные дома, а вместе с ними — годы труда и здравого смысла. Они делали это ради своего маленького отца. А потом поворачивались лицом к лютой зиме и шли умирать поодиночке, парами и целыми семьями. Уходили в леса и сидели на берегу замерзшей реки. Это продолжалось недолго, кровь быстро остывала, но мы, проходя мимо, все же слышали, как они поют. Их голоса подхватывал ледяной ветер и разносил над пожарищем.

Мы убили всех, не истратив ни одного заряда. Я молился, чтобы пошел снег и засыпал их навсегда. Когда падает снег, верится, что мир и впрямь очистился.

Неужели каждая снежинка действительно неповторима? Кто знает?

Я вынужден перестать писать. Пора делать упражнения. Здесь считают, что нужно делать упражнения каждый день в одно и то же время. Иначе они начинают волноваться за наше здоровье. Хотят, чтобы мы были здоровы; посетители должны уходить от нас довольными. Надеюсь, у меня сегодня будет гость.

На той войне страшнее всего было наблюдать не за смертью товарищей, а за их жизнью. Я слышал сказки о человеческом теле и разуме, о том, к чему они могут приспособиться, как могут выжить. Слышал рассказы людей, которых сожгло солнце, и они отрастили другую кожу, толстую и черную, как подгоревшая овсянка. Другие научились не спать, боясь, что их сожрут дикие звери. Тело цепляется за жизнь, чего бы это ему ни стоило. Даже поедает само себя. Когда нет пищи, оно становится каннибалом и пожирает сначала собственный жир, потом мышцы, потом кости. Я видел солдат, которые, обезумев от голода и холода, отрезали себе руки и варили их. Много ли можно отрезать? Две руки. Две ноги. Уши. Куски туловища. Можно отрезать все и оставить только сердце, бьющееся в своем разграбленном дворце.

Нет. Сначала нужно вырезать сердце. Тогда не так холодно. Не так больно. Ведь без сердца нет смысла и руку останавливать. Глаза не мигая будут смотреть на смерть. Именно сердце предает нас, заставляет плакать, хоронить друзей, когда нужно идти вперед. Именно сердце сосет нас по ночам и заставляет ненавидеть самих себя. Именно сердце поет старые песни, будит воспоминания о теплых днях и заставляет проковылять еще одну милю, миновать еще одну сожженную дотла деревню.

Чтобы пережить ту лютую зиму и ту войну, мы сложили из своих сердец погребальный костер и навсегда забыли о них. Сердце нельзя сдать в ломбард. Нельзя завернуть его в чистую тряпку, оставить там и выкупить, когда настанут лучшие времена.

Перед лицом смерти страсть к жизни теряет смысл. Ты можешь сделать только одно: отречься от страсти. Лишь после этого начнешь выживать.

А если откажешься?

Если будешь помнить каждого убитого тобой человека, каждую разломанную надвое жизнь, каждый бережно и мучительно выращенный урожай, который уничтожил, каждого ребенка, у которого украл будущее, — безумие набросит тебе петлю на шею и поведет в темные леса с оскверненными реками и умолкшими птицами.

Когда я говорю, что жил с бессердечными людьми, я беру очень точное слово.

Неделя тянулась за неделей. Мы говорили о возвращении домой, и постепенно дом перестал быть местом, где мы не только любим, но и ссоримся. Где гаснет огонь и то и дело приходится выполнять неприятную работу. Дом стал средоточием радости и здравого смысла. Мы начинали верить, что ведем эту войну, только чтобы вернуться домой. Чтобы беречь свой дом, сохранять дом тем, чем он начинал нам казаться. После смерти сердец у нас нечему было вызывать прилив чувств, что липли к нашим штыкам и раздували наши влажные костры. Мы готовы были верить во что угодно — лишь бы только дожить: Бог на нашей стороне, а русские — дьяволы. Наши жены зависели от этой войны. От нее зависела судьба Франции. Мы были обязаны победить или умереть.

Какая ложь была самой непростительной? То, что мы сможем вернуться домой и найти брошенное в целостности и сохранности. Что сердца будут ждать нас за дверью, как верные старые псы.

Но не всем везет, как Одиссею.

Температура падала, мы отказались от слов, но продолжали надеяться, что дойдем до Москвы. До огромного города, где будут еда, тепло и друзья. Бонапарт был уверен, что после решительного удара мы тут же заключим мир. Он заранее составил акт о капитуляции, сверху донизу заполнив его унижительными условиями и оставив внизу место лишь для подписи царя. Казалось, он думал, что мы побеждаем, хотя мы лишь догоняли противника. Только ему кровь согревали меха.

Москва — город куполов, выстроенный для красоты, город площадей и молебнов. Я видел ее — мельком. Золотые купола хорошо смотрелись среди желтого и оранжевого, а люди ушли.

Они сами сожгли ее. Москва горела, уже когда в нее прибыл опередивший армию Бонапарт, — и

продолжала гореть. Такой город трудно сжечь быстро.

Мы разбили лагерь подальше от пожара, и в тот вечер я принес ему тощего цыпленка с гарниром из петрушки, которую повар выращивает в кивере убитого. Думаю, именно в тот вечер я понял, что больше не выдержу. Думаю, именно в тот вечер я начал ненавидеть его.

До тех пор я не знал, что такое ненависть. Что такое ненависть, сменяющая любовь. Она огромна, отчаянна и жаждет опровергнуть самое себя. Но каждый день доказывает собственную правоту и становится еще чудовищнее. Если любовь — страсть, то ненависть — одержимость. Непреодолимая тяга видеть, что некогда любимое ослабло, испугано, недостойно жалости. Отвращение близко, а уважение далеко. Ненависть не только к тому, кого ты когда-то любил, но и к себе самому; как тебя угораздило полюбить это ничтожество?

Когда несколько дней спустя прибыл Патрик, стоял обжигающий холод. Я пошел искать его: он замотался в мешки и держал в руках кувшин с какой-то бесцветной жидкостью. Ирландец по-прежнему служил наблюдателем — следил за неожиданными перемещениями противника, — но поскольку он редко бывал трезв, далеко не все его наблюдения следовало принимать всерьез. Патрик помахал мне кувшином и сказал, что получил его в обмен на жизнь. Крестьянин умолял, чтобы ему позволили честно умереть вместе с семьей от холода, и предложил Патрику кувшин. Что бы там ни было, Патрик пришел в мрачное расположение духа. Я понюхал. Жидкость пахла старостью и сеном. Я заплакал, и мои слезы посыпались, как бриллианты.

Патрик поднял одну слезинку и посоветовал не тратить соль понапрасну.

А потом задумчиво съел ее.

— Хорошая закуска к спирту.

Есть сказка об изгнанной принцессе — она шла и плакала, а слезы ее превращались в драгоценные камни. За принцессой летела сорока, подбирала их и стаскивала на подоконник мечтательного принца. Этот принц объездил весь свет, нашел принцессу, а потом они жили долго и счастливо. Сороку назначили королевской птицей, поселили в дубовой роще, а принцесса сделала из своих слез ожерелье — не носить, а смотреть на него в минуту печали. Глядя на ожерелье, она понимала, что горевать не из-за чего.

— Патрик, я собираюсь дезертировать. Пойдешь со мной?

Он засмеялся.

— Я сейчас жив лишь наполовину, но если пойду с тобой в эту глушь, то окончательно протяну ноги. Можешь не сомневаться.

Я не стал его уговаривать. Мы сидели вместе, делились мешками и спиртом, но каждый думал о своем.

Пойдет ли со мной Домино?

После того, как ему снесло половину лица, он почти не разговаривал. Обвязал голову тряпкой, чтобы прикрывала шрамы и впитывала кровь. Если он слишком долго был на холоде, шрамы вскрывались и рот наполнялся кровью и гноем. Врач объяснил, что в рану попала инфекция, когда он ее зашивал. Пожимал плечами. Шел бой, он делал все что мог, но что он мог? Слишком много оторванных рук и ног, а облегчать боль и прижигать раны можно было только коньяком. Слишком много раненых; им было бы лучше умереть. Домино залезал в сани Бонапарта, которые держали в грубой палатке из мешковины, и спал в них. Ему повезло: он приглядывал за снаряжением Императора. А мне повезло служить на офицерской кухне. Нам было теплее и сытнее, чем прочим. Точно мы катались как сыр в масле...

Мороз не так донимал нас; кроме того, у нас каждый день была еда. Но мешки и картошка — не соперники лютой зиме; они избавляют от счастливого забвения, которое дарует смерть от холода. Когда солдаты наконец падают в снег, зная, что уже не встанут, большинство улыбается. Сон в снегу — это так приятно.

Он выглядел больным.

— Домино, я хочу дезертировать. Пойдешь со мной?

В тот день он вообще не мог говорить; боль была слишком сильна, но он писал на пороше, которую заметало под палатку.

«СУМАСШЕДШИЙ».

— Нет, Домино, я не сумасшедший. Ты сам смеялся надо мной, когда я вступил в армию. Смеялся восемь лет. Побудь хоть раз серьезным.

Он написал: «ПОЧЕМУ?»

— Потому что я не могу здесь оставаться. Эти войны не кончатся никогда. Даже если мы вернемся домой, начнется еще одна война. Я думал, он покончит с войнами, — он же обещал. Еще одна, сказал

он, еще одна, и настанет мир. Но еще одна война будет всегда. Я хочу остановиться.

Он написал: «БУДУЩЕЕ». А потом перечеркнул это слово.

Что он имел в виду? Свое будущее? Мое? Я снова вспомнил те дни у соленого моря, когда солнце выжгло траву дожелта, а солдаты обручились с русалками. Именно тогда я начал свою тетрадку, и она до сих пор со мной. Именно тогда Домино высмеял меня и назвал будущее сном. «Анри, есть только настоящее».

Он никогда не говорил, чем хочет заняться, куда отправится, никогда не вступал в никчемные беседы о том, что когда-нибудь, в другом времени, все станет лучше. Он не верил в будущее — только в настоящее, и когда наше будущее, наши годы превратились в беспощадное настоящее, я стал понимать его. Прошло восемь лет, а я по-прежнему воевал, готовил кур и ждал возвращения домой, где все будет хорошо. Мы восемь лет говорили о будущем и видели, как оно становится настоящим. Годы раздумий. «Через год я буду заниматься чем-то совсем другим». Проходил год, а мы продолжали делать то же самое.

Будущее. Перечеркнуто.

Вот что делает война.

Я больше не хочу молиться на него. Хочу делать собственные ошибки. Хочу умереть от старости.

Домино смотрел на меня. Снег уже занес его слова.

Он написал: «ИДИ».

Он пытался улыбаться. Его рот не двигался, но глаза блестели, и в них прыгали чертики. Прыгали так же, как когда-то прыгал он сам, срывая яблоки с верхушек деревьев. Домино оторвал сосульку от потемневшего брезента и сунул ее мне.

Прекрасное создание мороза. В середине что-то сверкало. Я присмотрелся. Да, что-то блестящее пронизывало ее из конца в конец. То была тонкая золотая цепочка, которую Домино обычно носил на шее. Он называл ее своим талисманом. Что он с ней сделал и почему теперь отдавал ее мне?

Домино жестами показал, что больше не может носить цепочку на шее из-за раны. Он начистил ее, убрал подальше с глаз, и в то утро она обледенела.

Обыкновенное чудо.

Я попытался вернуть ему цепочку, но Домино оттолкнул меня. Наконец я кивнул и сказал, что подвешу ее к поясу, когда уйду.

Наверное, я знал, что он никуда не пойдет. Он не мог оставить лошадей. Они были его настоящим.

Когда я вернулся в кухонную палатку, меня ждал Патрик. С ним сидела женщина, которую я раньше не видел. Vivaindière. Их почти не осталось; уцелевшие предназначались только для офицеров. Парочка уплетала куриные ножки; одну предложили мне.

— Успокойся, — сказал Патрик, увидев мой ужас. — Это не собственность Нашего Повелителя. Их нашла моя подруга. Я пошел тебя искать, а она здесь немного постряпала.

— Где вы их взяли?

— Заработала натурой. У русских кур много, а русских в Москве хватает.

Я вспыхнул и пробормотал, что все русские сбежали.

Женщина засмеялась и ответила, что русские умеют прятаться в снежинках. А потом добавила:

— Они все разные.

— Кто?

— Снежинки. Подумай об этом.

Я подумал и влюбился в нее.

Когда я сказал, что ночью уйду, женщина спросила, нельзя ли ей пойти со мной.

— Я смогу помочь тебе.

Я взял бы ее с собой, если б даже у нее была одна нога.

— Если вы пойдете вдвоем, — сказал Патрик, допивая свое жуткое пойло, — то и я с вами. Не собираюсь гнить здесь в одиночку.

Эти слова ошарашили меня, и я приревновал.

Может, Патрик любит ее? А она его?

Любовь. В разгар лютой зимы. Что это пришло мне в голову?

Мы уложили в мешок остатки ее еды и изрядную часть еды Бонапарта.

Он доверял мне, а я никогда не давал ему повода усомниться в моей преданности.

Что ж, даже великих людей можно удивить.

Мы собрали все, что было, женщина ушла и вернулась в огромной шубе — еще один ее

московский сувенир. Когда мы уходили, я проскользнул в палатку Домино, оставил ему часть съестных припасов и нацарапал свое имя на заиндевевших санях.

И мы ушли.

Мы вышли ночью и двигались без привала весь день. Ноги плохо слушались, и мы просто боялись останавливаться: вдруг у нас подогнутся колени или откажут легкие? Мы не разговаривали, мы как можно плотнее закутали рты и носы, оставив щели лишь для глаз. Снега не было. Твердая земля звенела под каблуками.

Я вспомнил женщину с ребенком — ее каблуки высекали искры из булыжной мостовой.

— С Новым годом, солдат.

Почему кажется, что все хорошее случилось с тобой только вчера, хотя с тех пор прошли годы?

Мы шли туда, откуда явились, и пепелища деревень служили нам зловещими ориентирами. Но продвигались мы медленно, поскольку избегали прямых дорог — боялись русских отрядов и собственных товарищей по оружию, жадных и отчаявшихся. Мятажникам или предателям, как их чаще называли, не было никакой пощады, никто не слушал их оправданий. Мы останавливались там, где могли найти какое-нибудь естественное укрытие, и сбивались в кучу — так было теплее. Я хотел прикоснуться к ней, но все ее тело было закутано, а у меня на руках были перчатки.

На седьмой вечер, выйдя из леса, мы обнаружили избушку, битком набитую старыми мушкетами. Мы решили, что это полевой склад русских, но в нем никого не было. Мы устали и решили попытаться счастья — выгребли из бочонков остатки пороха и развели огонь. То был первый вечер, когда мы смогли разуться. Вскоре мы с Патриком вытянули ноги к пламени, рискуя обжечь пятки.

Наша спутница развязала шнурки, но осталась в сапогах. Я удивился, когда она отказалась от неожиданной роскоши, а она заметила и сказала:

— Мой отец был лодочником. Лодочники никогда не снимают обувь.

Мы промолчали — то ли из уважения к чужим обычаям, то ли от крайней усталости. Тогда-то она и предложила рассказать о себе — если мы согласны слушать.

— Сказка у камелька, — сказал Патрик. — Для полноты картины требуется только выпить. — С этими словами он пошарил в своих бездонных карманах и выудил еще одну бутылку дьявольского пойла, заткнутую пробкой.

И вот что женщина рассказала.

Я всегда любила азартные игры. Для меня играть — так же естественно, как любить или воровать. А тому, чего я не знала от рождения, научилась в Игрном доме. Я следила за тем, как играют другие, и понимала, чего они стоят и что готовы поставить на кон. Училась искушать их так, чтобы соблазн становился непреодолимым. Мы играем, надеясь выиграть, но возбуждает нас мысль о том, чего мы можем лишиться.

То, как вы играете, зависит от темперамента: карты, кости, домино или фишки — дело вкуса. Все игроки потеют. Я родом из города случая, где возможно все, но все имеет свою цену. В этом городе каждую ночь выигрывают и проигрывают громадные состояния. Так было всегда. Корабли с шелками и специями тонут, слуга предаёт хозяина, тайны выходят наружу, по ком-то звонит колокол. Впрочем, нищих искателей приключений тоже встречали здесь с распростертыми объятиями: они приносят удачу, и очень часто удача изменяет им. Пришедшие пешком уезжают верхом на прекрасных лошадях, а тот, кто хвастался богатством, просит милостыню на Риальто. Так было всегда.

Умный игрок всегда оставляет что-то про запас. То, что можно будет поставить на кон в следующий раз: карманные часы, охотничью собаку. Но игрок от Дьявола сохраняет про запас только то, что ему по-настоящему дорого; то, на что можно сыграть лишь раз в жизни. Он держит в тайнике неслыханно дорогую вещь, о существовании которой не подозревает никто.

Я знала такого человека. Он не был ни горьким пьяницей, кто не брезгует никаким пари, ни запойным игроком, готовым проиграть последнюю рубашку, лишь бы не идти домой. То был предусмотрительный человек; говорят, он торговал золотом и смертью. Как большинство игроков, он много проигрывал и много выигрывал, но никогда не проявлял своих чувств, и я никогда не знала, какая сумма стоит на кону. Я считала этого человека любителем и не обращала на него внимания. Понимаете, мне нравится страсть, нравится быть отчаявшимся.

Но презрение мое было напрасным. Этот человек ждал возможности заключить пари, которое заставило бы его рискнуть самым дорогим. Настоящий игрок, он был готов на это, но не от скуки, не

чтобы выиграть собаку или петуха.

Однажды тихим вечером, когда столы были еще пусты и домино лежало в коробках, он пришел, начал бродить по Игорному дому, болтать, пить и флиртовать.

Мне было скучно.

Затем в зал вошел еще один человек — не из наших постоянных посетителей; никто из нас его не знал. Сыграв несколько конов без особого воодушевления, незнакомец приметил человека, о котором я рассказываю, и заговорил с ним. Они разговаривали около получаса, причем очень горячо. Мы решили, что это старые друзья, и постепенно утратили к ним интерес. Но тут богач, рядом с которым странно склонился его компаньон, попросил дать ему возможность объявить неслыханное пари. Мы освободили ему место в середине зала и предоставили слово.

Оказалось, что его компаньон, этот незнакомец, приехал откуда-то из левантийских пустынь, где живут необыкновенные ящерицы и другие диковины. В его стране ни один мужчина не сядет за игровой стол ради каких-то жалких денег; у них более высокие ставки.

Жизнь.

Ставка ценою в жизнь. Победитель получит жизнь проигравшего и распорядится ею так, как сочтет нужным. Сроки и способ смерти значения не имеют. Ясно одно: выживет лишь кто-то один.

Было видно, что наш богатый друг возбужден. Он не смотрел ни на игроков, ни на столы. Его взгляд был устремлен туда, где нас не было: в мир утраты и боли. Какая разница, если он потеряет богатство?

Богатство для этого у него есть.

Какая разница, если он потеряет любовниц?

Женщин у него достаточно.

Но может ли он проиграть собственную жизнь?

Жизнь у него одна. Он дорожит ею.

Некоторые в тот вечер умоляли его бросить эту затею — они видели в неведомом старце нечто зловещее. Возможно, боялись, что им предложат то же самое, и придется отказываться.

По тому, чем рискуешь, становится ясно, что ты ценишь.

Условия были таковы.

Три игры.

Первая — рулетка, где властвует только случай.

Вторая — карты, где известную роль играет мастерство.

Третья — домино, где мастерство главное, а случай выступает под маской.

Чьи цвета наденет король-случай?

Это город масок.

Условия были согласованы и тщательно соблюдались. Победителем станет тот, кто выиграет две игры из трех, или же управляющий Игорного дома определит ничью, если кто-то из зрителей заметит жульничество.

Условия казались честными. Более честными, чем можно было ожидать в этом изменчивом мире. И все же некоторым стало не по себе, хотя в неизвестном человеке, на первый взгляд, не было ничего необычного или угрожающего.

Если бы Дьявол играл в кости, как бы он к нам явился?

Незаметно и начал бы нашептывать нам на ухо?

Спустился он к нам в виде ангела света, мы тотчас насторожились бы.

Наконец прозвучали слова: «Игра сделана».

Всю первую игру мы пили, наблюдали за пролетающим мимо красным и черным, следили за яркой полосой металла, что отделяла одну цифру от другой, равнодушной к выигрышу или проигрышу. Сначала казалось, что наш богатый друг должен выиграть, но в последний момент шарик выскочил из гнезда и покатился дальше с негромким тошнотворным звуком, который сопровождает последнюю перемену.

Колесо остановилось.

Фортуна улыбнулась незнакомцу.

На мгновение воцарилось молчание. От одного мы ждали проявления досады, от другого — удовлетворения, но мужчины с восковыми лицами встали и пошли к столу под обманчивым веселым сукном. Карты. Кто знает, что они сулят? У мужчины должна быть верная рука.

Они не теряли времени даром. Эти люди знали толк в игре.

Они играли около часа, а мы пили. Пили, чтобы смочить губы, пересыхавшие всякий раз, когда на стол падала карта. Казалось, сама судьба вела незнакомца к победе. Однако никого не отпускало странное чувство, что незнакомец не должен выиграть — он обязан проиграть. Ради всех нас. Мы отчаянно желали, чтобы наш богатый друг напряг мозги, и чтобы ему повезло. Так и случилось.

В карты он выиграл, и счет стал равным.

На мгновение мужчины встретились взглядами, а потом сели играть в домино. Их лица как бы перетекли друг в друга. Казалось, наш богатый друг стал более расчетливым, а лицо его соперника — более задумчивым и не таким алчным, как раньше.

С самого начала стало ясно, что в этой игре они тоже равня. Оба играли искусно, оценивали пробелы и числа, проводили молниеносные подсчеты, пытались перехитрить друг друга. Мы бросили пить. Никто не говорил и не двигался; слышалось только щелканье костей о мраморный стол.

Миновала полночь. Я слышала, как внизу вода хлюпает о камни. Слышала, как у меня в горле хлюпает слюна. Слышала, как домино щелкают о мраморный стол.

Наконец не осталось ни одной кости. Ни одного пробела.

Незнакомец выиграл.

Мужчины встали одновременно и обменялись рукопожатием. Затем богач положил руки на мраморный стол, и мы увидели, что они дрожат. Красивые холеные руки дрожали. Заметив это, незнакомец слегка улыбнулся и предложил проигравшему выполнить условия пари.

Никто из нас не сказал ни слова, никто не попытался остановить его. Может, мы хотели, чтобы так случилось? Надеялись, что жизнь одного человека может заменить множество других?

Я не знаю, о чем мы думали. Знаю только одно: мы молчали.

Смерть была такова: постепенное расчленение. Начиная с рук.

Богач незаметно кивнул, поклонился нам и вышел вместе с незнакомцем. Мы больше никогда не видели ни того, ни другого и не слышали о них, но однажды, несколько месяцев спустя, когда мы сумели убедить друг друга, что это была всего лишь штука: они зашли за угол и расстались, перепугав друг друга до полусмерти, — в Игорный дом пришла посылка. В стеклянном ящичке на зеленом сукне лежала пара изящных белых рук с безукоризненным маникюром. Между большим и указательным пальцем левой руки был зажат шарик для игры в рулетку, а между большим и указательным пальцем правой — кость домино.

Управляющий повесил ящичек на стену. Он висит там и сегодня.

Я говорила, что в тайнике лежит нечто неслыханно ценное. Мы не всегда сознаем это, но всегда скрываем что-то от любопытных глаз и чувствуем иногда: эти любопытные глаза принадлежат нам самим.

Однажды ночью, восемь лет назад рука, заставшая меня врасплох, открыла тайник и показала мне, что я там хранила.

Мое сердце — орган надежный, как там могло оказаться мое сердце? Мое сердце верой и правдой служило мне изо дня в день, смеялось над жизнью, ничего никогда не выдавало. Но однажды я увидела привезенные с Востока куклы — они вкладывались одна в другую, скрывались одна в другой, — и я поняла, что сердце тоже может скрываться в самом себе.

Я начала азартную игру, и ставкой оказалось мое сердце. В такую игру можно сыграть только однажды.

Или не играть в нее вовсе.

Я полюбила женщину — согласитесь, это не совсем обычно. Я знала ее всего пять месяцев. Мы провели вместе девять ночей, и с тех пор я ее ни разу не видела. Согласитесь, это не совсем обычно.

Я всегда предпочитала карты костям, поэтому что удивительного, когда я вытянула роковую карту.

Даму пик.

Ее дом был простым, но изящным, а мужа иногда вызывали осмотреть новую редкость (он торговал книгами и географическими картами); вскоре после нашей встречи он снова уехал. Девять дней и ночей мы не выходили из ее дома, ни разу не открыв дверь и не выглянув в окно.

Мы были обнажены и не стыдились этого.

И счастливы.

На девятый день я ненадолго осталась одна; до возвращения мужа ей нужно было закончить кое-какие домашние дела. В тот день окна заливал дождь, вода в каналах поднялась, и на поверхность вынесло то, что лежало на дне. Мусор, которым кормились крысы и изгнанники в своих темных лабиринтах. То было вскоре после Нового года. Она говорила, что любит меня. Я никогда не сомневалась в ее словах, ибо знала, что это правда. Когда она прикасалась ко мне, я понимала, что меня любят — со страстью, которой раньше я никогда не чувствовала. Ни в других, ни в себе.

Нынче любовь стала модной, и в этом городе моды мы знаем, как смеяться над любовью и не давать воли своему сердцу. Я считала себя цивилизованной женщиной, но оказалось, что я дикарка. При мысли о том, что я могу потерять ее, я была готова утопить ее и утопиться самой в каком-нибудь пустынном месте — все лучше, чем казаться себе чудовищем без единого друга.

Всю девятую ночь мы пили и ели, как обычно, оставшись в доме одни; слуг отпустили. Ей нравилось жарить омлеты с травами. Именно их мы и ели с острой редькой, которую она купила у разносчика. Время от времени мы умолкали, и я видела в ее глазах следующий день. Тот, когда мы расстанемся, и наша жизнь сведется к странным встречам в незнакомых кварталах. Обычно мы ходили в одно кафе, битком набитое студентами из Падуи и художниками, ищущими вдохновения. Ее там не знали. Друзья не отыскивали бы ее там. Именно там мы встретились впервые и продолжали встречаться в часы, которые нам не принадлежали. За исключением того дара девяти ночей.

Я не приняла ее печали — она была слишком тяжела.

Какой смысл любить человека, рядом с которым можно проснуться лишь случайно?

Игроком руководит надежда на выигрыш и возбуждает страх проигрыша; побеждая, он верит, что удача с ним, что она улыбнется ему снова.

Если возможны девять ночей, то почему не десять?

Но идет неделя за неделей, ты ждешь десятой ночи, нового выигрыша, а время потихоньку обглаживает ту самую, неслыханно ценную вещь, которой нет замены.

Ее муж имел дело только с редкостями; он никогда не покупал того, чем мог владеть кто-то другой.

Может, он купит мое сердце и подарит его ей?

Я уже ставила его на кон девять ночей. В то утро я ушла, не сказав ей, что мы больше никогда не увидимся. Просто не стала договариваться о встрече. Она не принуждала меня. Она часто говорила, что с возрастом взяла от жизни все, что могла, и большего не ждет.

И я ушла.

Когда мне хотелось вернуться к ней, я шла в Игорный дом и смотрела на какого-нибудь глупца, унижавшегося за игровым столом. Я могла бы выиграть еще одну ночь, еще немного унизиться, но после десятой были бы одиннадцатая и двенадцатая, а потом я оказалась бы в том безмолвном месте, где больно от того, чего всегда не хватает. В безмолвном месте, где голодают дети. Она любила своего мужа.

Я решила выйти замуж.

Был человек, который давно хотел меня; человек, которому я отказывала, проклинала его. Человек, которого я презирала. Богатый человек с жирными пальцами. Ему нравилось, что я одевалась мальчиком. А мне всегда нравилось одеваться мальчиком. Это нас сближало.

Он приходил в Игорный дом каждый вечер, играл по-крупному, но никогда не ставил на кон то, что было ему слишком дорого. Он не был глупцом. Он хватал меня своими ужасными руками, кончики пальцев его казались набухшими гнойниками, и спрашивал, не передумала ли я. Говорил, что мы сможем путешествовать по миру. Мы трое. Он, я и мой гульфик.

Город, в котором я родилась, постоянно меняется. Он не всегда сохраняет размеры. По ночам улицы появляются и исчезают, а в суше пробиваются новые каналы. Иногда бывает невозможно пройти из одного места в другое, потому что путь кажется бесконечным, а иногда можешь обойти свое королевство за минуту, как владения какого-нибудь карманного принца.

Мне начинало видеться, что в городе остались лишь два человека: они ощущают присутствие друг друга, но никак не могут встретиться. Выходя на улицу, я надеялась и смертельно боялась увидеть

этого другого. Во всех незнакомых лицах я различала одно лицо, а в зеркале видела свое собственное.

Мир.

Конечно, мир достаточно широк, чтобы ходить по нему без опаски.

Мы поженились без всякой церемонии и тут же уехали — сначала во Францию, потом в Испанию, потом даже в Константинополь. Он крепко держал слово, и каждый месяц я пила кофе в другой стране.

В одном городе, где всегда стоит хорошая погода, жил молодой еврей, который любил пить кофе под открытым небом и наблюдать за прохожими. Он видел моряков, путешественников, женщин с лебедями в волосах и все мыслимые и немыслимые развлечения.

Однажды он увидел молодую женщину, быстро шедшую мимо; одежда так и летела за ней.

Она была красива; молодой человек знал, что красота делает людей отзывчивыми, поэтому попросил ее ненадолго остановиться и выпить с ним кофе.

— Я убегаю, — сказала она.

— От кого?

— От себя.

Но она все же согласилась посидеть с ним, потому что была одинока.

Его звали Сальвадор.

Они говорили о горных хребтах и опере. Говорили о животных с железным мехом, которые могут плавать по рекам, не поднимаясь наверх, чтобы глотнуть воздуха. О неслыханно дорогой вещи, которая есть у каждого и хранится в тайнике.

— Вот она, — сказал Сальвадор. — Гляньте-ка сюда. — С этими словами он вынул коробочку с эмалью снаружи и бархатом внутри, и на этом бархате лежало его сердце.

— Отдайте мне взамен ваше.

Но женщина не могла сделать этого, потому что путешествовала без сердца; оно билось в другом месте.

Она поблагодарила молодого человека и вернулась к мужу, руки которого ползали по ее телу, как крабы.

А молодой человек часто думал о красивой женщине, представшей перед ним в солнечный день, когда дул такой ветер, что ее серьги плавниками сдувало в стороны.

Мы путешествовали два года; потом я украла все деньги, что у него были, прихватила часы и бросила его. Я оделась мальчиком, чтобы не узнали, и пока он храпел, вылакав бутылку красного вина и сожрав половину гуся, скрылась в темноте, которая всегда была мне другом.

Я бралась за любую работу — на кораблях, в роскошных дворцах, я научилась говорить на пяти языках и не возвращалась в город своей судьбы целых три года. Но затем, повинувшись капризу, села на судно домой, потому что хотела вернуть свое сердце. Следовало быть умнее — город сжимался, и возвращаться в него оказалось слишком рискованно. Муж тут же нашел меня. Гнев обобранного и брошенного супруга ничуть не смягчился, хотя к тому времени он жил уже с другой женщиной.

Его друг, умудренный опытом человек, предложил решить наши разногласия с помощью небольшого пари. Мы должны сыграть в карты, и если выиграю я, то получу полную свободу и достаточно денег, чтобы ею пользоваться. Если я проиграю, муж получит право сделать со мной все, что ему захочется, — за исключением принуждения к сожительству и убийства.

Разве был у меня выбор?

В то время я думала, что просто плохо играла, но позже случайно узнала: колода крапленая, исход пари predetermined с самого начала. Я уже говорила: мой муж глупцом не был.

Меня подвел валет червей.

Проиграв, я решила, что муж запрет меня в доме и на том дело кончится, но он заставил меня ждать три дня, а потом прислал записку с требованием явиться на встречу.

Когда я пришла, он был с другом и офицером высокого ранга — французом, который потом оказался генералом Мюротом.

Этот офицер смерил придирчивым взглядом мое платье, а потом попросил переодеться. Увидев меня в наряде мальчика, пришел в восторг, извлек большой саквояж и положил его на стол между собой и моим мужем.

— Тут сумма, о которой мы договорились, — сказал он.
Мой муж трясущимися руками пересчитал деньги.
Он продал меня.
Мне пришлось пойти за армией и стать любимой игрушкой генералов.
Мюрат заверил, что это для меня немалая честь.
Они не дали мне времени забрать свое сердце. Только вещи. Но я им благодарна; здесь — не подходящее для сердца место.

Она умолкла. Мы с Патриком не говорили ни слова, не шевелились, даже чтобы уберечь от огня пятки. Именно она прервала молчание.

— Дайте мне этого адского зелья. Рассказ заслуживает награды.

Она казалась беспечной; тень исчезла с ее лица, но, похоже, перебралась на мое.

Она никогда не полюбит меня.

Я нашел ее слишком поздно.

Я хотел подробнее расспросить женщину о ее городе на воде, который никогда не остается прежним, хотел увидеть ее глаза, в которых горела любовь если не ко мне, то к чему-то другому, но она расстелила шубу на полу и собралась спать. Я осторожно приложил ладонь к ее щеке, и женщина улыбнулась, прочитав мои мысли.

— Когда мы одолеем эти снега, я привезу тебя в город масок, и ты найдешь ту, что придется тебе по душе.

Еще одну. На мне уже есть маска. Маска и костюм солдата.

Нет. Я хочу домой.

Пока мы спали, снова пошел снег. Утром мы не смогли открыть дверь. Ни я, ни Патрик, ни мы втроем. Понадобилось выламывать бревно из треснувшей стены, и поскольку я был самым худым, лезть в дыру пришлось мне. При этом я уткнулся лицом в сугроб выше человеческого роста.

Потом я начал раскапывать руками это колдовское месиво, которое манит погрузиться в него с головой и забыть обо всем на свете. Снег не кажется холодным; складывается впечатление, что у него вообще нет температуры. Когда он падает, и ты ловишь руками эти кусочки пустоты, как-то не верится, что они могут сделать кому-нибудь больно. Кажется невозможным, что простое умножение может что-то изменить.

А может, и нет. Даже Бонапарт начинал понимать значение количества. В этой безбрежной стране слишком много миль, людей и снежинок — нас на всех не хватило.

Я снял перчатки, чтобы они не промокли, и смотрел, как мои руки сначала покраснели, затем побелели, затем приобрели красивый синий цвет, а вены стали пурпурными, как анемоны. Я чувствовал, что у меня замерзают легкие.

Дома, на ферме, полуночный мороз серебрит землю и закаляет звезды. Тамошний холод обжигает, как удар плети, но не чувствуешь, что коченеют внутренности. Что воздух, которым дышишь, схватывает потоки и туманы и превращает их в ледяные озера. Когда я делал вдох, то ощущал себя мумией.

Большая часть утра ушла у меня на то, чтобы отбросить снег и освободить дверь. Мы взяли порох, немного еды и продолжили путь в сторону Польши, или герцогства Варшавского, как назвал ее Наполеон. Мы собирались перейти границу, затем спуститься в Австрию, пересечь Дунай и добраться до Венеции... или Триеста, если порты будут блокированы вражеским флотом. Нам предстояло путешествие длиной в тысячу триста миль.

Вилланель умела обращаться с картой и компасом; одно из преимуществ жизни с генералами, как она говорила.

Из-за снежных заносов мы продвигались медленнее, чем прежде; через две недели от нас осталось бы одно воспоминание, если б не вынужденный крюк, что вывел нас к нескольким избушкам в стороне от обеих армий. Увидев поднимающийся вдалеке дымок, мы решили, что это еще одна деревня, принесящая себя в жертву, но Патрик поклялся, что видит не развалины, а коньки крыш; оставалось надеяться, что нас ведет не злой дух. Окажись деревня сожженной, солдаты были бы неподалеку.

По совету Вилланели, мы притворились поляками. Она говорила по-польски так же, как и по-русски, и объяснила насторожившимся крестьянам, что французы взяли нас в плен и силой заставляли служить себе, но мы убили сторожей и бежали, надев французские мундиры, чтобы не вызвать подозрений. Когда русские крестьяне услышали, что мы убили несколько французов, их лица

засветились от радости, и они тут же впустили нас внутрь, пообещав накормить и дать убежище. С помощью Вилланели мы узнали, как мало деревень уцелело и сколь значительны пожары. Их собственные дома не пострадали — они стояли в стороне, а русский офицер высокого ранга влюбился в дочь пастуха. Случайный роман так запал ему в душу, что этот русский пообещал спасти деревню и повел свой отступавший отряд по прежнему маршруту, уведя за собой французов.

Любви не страшна ни война, ни лютая зима. Наш хозяин объяснил, что любовь зимует под снегом, как кусты малины, на которых в феврале неизменно появляются нежные ягодки независимо от погоды и видов на будущее. Никто не знает, почему она продолжает расти в такую пору, когда у сосен перемерзают корни, а лохматых овец приходится держать в доме.

Дочь пастуха стала местной знаменитостью.

Вилланель сделала вид, что мы муж с женой, и нас положили спать вместе, а бедному Патрику пришлось делить ложе с сыном хозяев, дружелюбным идиотом. На второе утро мы услышали крики с чердака, прибежали и увидели, что Патрик лежит навзничь и стонет, а сын хозяев, огромный, как бык, сидит на нем верхом и играет на деревянной дудочке. Мы не могли сдвинуть его с места. Но тут пришла жена хозяина, хлестнула сына тряпкой и выгнала зарывавшего парнягу на снег. Немного погодя он вернулся, лег у ног матери, широко раскрыл глаза и уставился на нее.

— Он хороший мальчик, — сказала женщина Вилланели.

Оказалось, при его рождении присутствовал дух и предложил родителям выбор: ум или сила. Жена хозяина пожала плечами. Зачем ум в том месте, где нужно ухаживать за козами и овцами и валить деревья? Они поблагодарили духа, попросили силу, и теперь их сын, которому всего четырнадцать лет, может одолеть пятерых взрослых мужиков и носить на плечах корову, как ягненка. Ел он из ведра, потому что ни одна миска не могла утолить его аппетит. Пока мы с Патриком и Вилланелью ели похлебку, а крестьянин и его жена жевали черствый хлеб, их сын сидел в конце стола, загораживая плечами окно и черпая ковшиком из ведра.

— Он женится? — спросила Вилланель.

— Конечно, — удивился хозяин. — Какая женщина не захочет взять в мужья такого сильного парня? В свое время мы найдем ему невесту.

В ту ночь я без сна лежал рядом с Вилланелью и прислушивался к ее дыханию. Она спала, сжавшись в комок, повернувшись ко мне спиной, и не показывала виду, что хочет моих прикосновений. Я дотрагивался до нее, только когда был уверен, что она спит. Гладил по спине и гадал, все ли женщины так нежны и упруги. Однажды она вдруг повернулась и попросила моей любви.

— Я не умею.

— Тогда я сама буду любить тебя.

Когда я вспоминаю о той ночи — здесь, откуда не выйду никогда, — у меня дрожат руки и болят мышцы. Я забываю, день сейчас или ночь, забываю, зачем пишу эту книгу и пытаюсь рассказать вам о том, как все было на самом деле. Не слишком выдумывая. Вспоминаю только по ошибке, написанные слова плывут перед глазами, перо поднимается и застывает в воздухе. Я думаю об этом часами, но передо мной — одно и то же мгновение. Она наклоняется, ее рыжие волосы с золотыми прядками падают мне на лицо и грудь, и я смотрю на нее сквозь эти волосы. Волосы окутывают меня, и я словно лежу в высокой траве, покойный.

Покидая деревню, мы унесли с собой карту — на ней нам нарисовали короткий маршрут — и еду, которой поделились слишком щедрые хозяева. Мне было очень неловко: если б не Вилланель, они бы убили всех нас.

Куда бы мы ни шли, нам попадались те, кто ненавидел французов. Мужчины и женщины, будущее которых было предрешено. Они не умели связно мыслить; то были люди земли, им хватало малого, и они ревностно чтиты обычаи и Бога. Хотя их жизнь менялась не слишком, они чувствовали, что их унизили, потому что унизили их вождей; они не знали над собой власти и презирали гарнизоны и марионеточных королей, который оставлял за собой Бонапарт. А тот всегда заявлял, что понимает, в чем благо народа, умеет улучшать и совершенствовать. Так оно и было: он улучшал правление во всех завоеванных странах, но вечно забывал о том, что даже простые люди хотят свободы, чтобы

совершать собственные ошибки.

Бонапарт не любил ошибок.

В Польше мы притворялись итальянцами и вызвали сочувствие, которое один оккупированный народ испытывает к другому. Когда Вилланель говорила, что родом из Венеции, люди прикрывали руками рты, а набожные женщины начинали креститься. Венеция, город Сатаны. Неужели это действительно так? Но даже те, кто осуждал Вилланель сильнее прочих, тихонько подкрадывались к ней и спрашивали, правда ли, что там живут одиннадцать тысяч блудниц, богатых, как короли.

Вилланель, любившая рассказывать байки, придумывала такое, что им и не снилось. Например, что у тамошних лодочников ступни с перепонками. Мы с Патриком давились от хохота, но поляки делали большие глаза, а одного вообще едва не отлучили от церкви: он предположил, что Христос, наверное, тоже умел ходить по воде, потому что таким уродился.

По пути до нас доходили слухи о Великой Армии, о тысячах погибших, и меня тошнило от бесцельности этих жертв. Бонапарт говорил, что парижские шлюхи сумеют восстановить потери за одну ночь. Может и так, но этим детям еще расти семнадцать лет.

Даже французы начинали уставать. Даже самым простым женщинам надоело рожать мальчиков, чтобы их убивали, и девочек, чтобы рожали новых мальчиков, когда повзрослеют. Мы стали выдыхаться. Талейран писал русскому царю: «Французы народ цивилизованный, но об их вожде этого не скажешь...»

Мы не слишком цивилизованы, мы слишком долго хотели того же, чего хотел он. Хотели славы, завоеваний, рабов и лести. Его желание горело дольше нашего, поскольку он не платил за него собственной жизнью. Он до последнего момента держал свою неслыханно дорогую вещь в тайнике, но мы, у которых не было ничего, кроме собственных жизней, с самого начала ставили на кон все, что имели.

Он понимал наши чувства.

Заранее подсчитывал наши потери.

Но умирали мы, а у него были палатки и еда.

Он пытался основать династию. А мы боролись за свои жизни. Не бывает ограниченной победы. Одно завоевание неминуемо ведет к другому, а то — к третьему, чтобы защитить завоеванное. По пути мы не встречали друзей Франции — только разбитых врагов. Таких же, как вы и я, с теми же надеждами и страхами, не плохих и не хороших. Меня учили видеть в них дьяволов и чудовищ, а я видел обычных людей.

Но эти обычные люди тоже искали дьяволов. Особенно австрияки — они считали французов жестокими и не достойными презрения. По-прежнему принимая нас за итальянцев, они снисходили к нашим недостаткам и во всем благоприятно сравнивали нас с французами. Что было бы, сбрось я свою маску? Неужели обратился бы в дьявола у них на глазах? Я боялся, что они вычислят меня по запаху, что их носы, презрительно морщившиеся при одном упоминании о Бонапарте, учуют мое происхождение. Но, похоже, мы таковы, какими нас видят. Тот, кто говорит, что может определить врага с первого взгляда, мелет чушь. Врага можно распознать только по мундиру.

Когда мы оказались неподалеку от Дуная, Патрик повел себя странно. Мы шли больше двух месяцев и очутились в долине среди сосновых рощ. На самом ее дне мы походили на муравьев в огромной зеленой клетке. Теперь, когда снега и мороз остались позади, мы чувствовали себя не в пример лучше. У нас поднялось настроение; еще неделя-другая — и мы доберемся до Италии! Когда мы уходили из Москвы, Патрик пел песни. Невразумительные, лишённые мелодии, но постепенно мы привыкли к этим звукам; под них было удобно идти. А в последние дни умолк, почти ничего не ел и не хотел разговаривать. Когда в тот вечер мы развели костер и сели у огня, он заговорил об Ирландии и сказал, что очень хочет домой. Стал размышлять, сумеет ли убедить епископа снова дать ему приход. Ему нравилось быть священником.

— И не только из-за девушек, хотя дело и в ниже тоже, я знаю.

Он сказал, что это имеет смысл независимо от наличия веры — имеет смысл ходить в церковь и думать о людях, которые тебе не родня и не враги.

Я назвал это ханжеством, а он ответил, что Домино был прав: в глубине души я пуританин, не желающий считаться с людскими слабостями и несовершенством простой человеческой природы.

Тогда это меня очень обидело. Но теперь я думаю, что он говорил правду. Это действительно мой порок.

Вилланель рассказала нам о венецианских храмах, сверху донизу расписанных изображениями

ангелов, чертей, воров, блудниц и животных. Патрик приободрился и решил, что для начала попытает счастья в Венеции.

Он разбудил меня в посреди ночи. Он бредил и метался. Я хотел уложить его, но Патрик был сильнее, и ни я, ни Вилланель не рискнули получить удар ногой или кулаком. Он обливался потом, несмотря на холодную ночь, и на его губах была кровь. Мы закутали его своими одеялами, а потом я побежал в темноту, которая по-прежнему приводила меня в ужас, за сухим хворостом; нужно было снова развести огонь. Костер напоминал геенну огненную, но Патрик по-прежнему не мог согреться. Он потел, дрожал и кричал, что замерзает, дьявол вселился в его легкие и проклинает его.

На рассвете он умер.

У нас не было лопат. Рыть черную землю было нечем, поэтому мы отнесли его на опушку и прикрыли папоротником, ветками и листьями. Зарыли как ежа, ждущего лета.

А потом испугались. От чего он умер? Может, и мы подцепили эту заразу? Несмотря на погоду и долгий путь, мы спустились к реке, вымылись, постирали одежду и, стуча зубами на слабом послеполуденном солнце, развели костер. Вилланель мрачно говорила о катаре, но тогда я ничего не знал об этой венецианской болезни, которой теперь страдаю каждый ноябрь.

Когда Патрик остался позади, с ним остался и наш оптимизм.

Мы верили, что путешествие скоро закончится, но теперь это казалось почти невозможным. Если умер один из нас, то почему не могут умереть все трое? Мы пытались шутить, вспоминали, каким было у Патрика лицо, когда его повалил мальчик-бык, вспоминали его ни на что не похожие видения; однажды он заявил, что видел саму Пресвятую Деву, объезжавшую небеса на позолоченном осле. Он всегда что-то видел. Неважно, что именно. Важно, что он видел и рассказывал нам байки. Ничего, кроме баек, у нас не осталось.

Однажды Патрик рассказал нам байку о своем чудесном глазе и о том, когда он впервые ощутил свой дар. Это случилось жарким утром в графстве Корк. Двери открыли настежь, чтобы в церкви стало прохладнее и не так пахло потом: проработав шесть дней в поле, как ни старайся, не отмоешься. Патрик читал благочестивую проповедь об аде и греховности плоти, а сам не сводил глаз со своей паствы. Точнее — правого глаза, потому что левый видел за три поля оттуда пару прихожан, совершавших плотский грех под Божьим небом, пока их супруги стояли на коленях в церкви.

После проповеди Патрик растерялся. Видел ли он их на самом деле или ему, как святому Иерониму, являлись сладострастные видения? Днем он навестил грешников, что-то заметил им мимоходом и по виноватым лицам понял, что они действительно совершили то, в чем он их подозревал.

В его приходе была одна благочестивая женщина, одаренная грудью, которая плыла поперед нее. Стоя у окна своего домика, Патрик обнаружил, что может видеть ее спальню без всякого вульгарного телескопа. Иногда он смотрел туда — просто чтобы убедиться, что прихожанка не грешит. В конце концов он убедил себя, что Господь наградил его подобным зрением с некоей праведной целью.

Разве Господь не наградил Самсона силой?

— А он до женщин тоже был сильно охоч.

Может, Патрик теперь видит и нас? Сидит рядом с Пресвятой Девой и видит, как мы идем, думая о нем? Может, теперь дальноржим стал и его правый глаз? Мне хотелось, чтобы он оказался на Небесах, хоть я и не верил в их существование.

Хотелось, чтобы он проводил нас домой.

Многие мои друзья умерли. Из тех пяти мальчишек, что хохотали над красным сараем и коровами, у которых мы принимали роды, выжил только один. Других — о чем я узнал лишь через несколько лет и не слишком удивился — смертельно ранило, или они пропали без вести во время того или иного сражения. На войне стараются не заводить прочных связей. Я видел, как пушечное ядро разорвало надвое бывшего каменщика. Этот человек мне нравился; я пытался вынести с поля боя обе половины его тела, но когда вернулся за ногами, обнаружил, что не могу отличить их от чужих. Был плотник, которого расстреляли за то, что он вырезал кролика из приклада своего мушкета.

Смерть в бою кажется славной только тому, кто никогда не воевал. Но тем, кто истекал кровью, получал увечья и был вынуждены бежать сквозь удушливый дым к вражеским шеренгам, ошетиившимся штыками, смерть в бою кажется именно тем, что она есть. Смертью. Самое странное, что кому-то удавалось вернуться живым. У Великой Армии имелось больше рекрутов, чем она могла

обучить. В ней почти не было дезертиров; по крайней мере, до последнего времени. Бонапарт говорил, что война — у нас в крови.

Правда ли это?

Если да, то этим войнам не будет конца. Ни сейчас, ни потом. Даже если мы крикнем «мир!» и побежим домой к своим полям и любимым, мира не будет; будет только передышка перед новой войной. Впереди у нас всегда будет война. Будущее перечеркнуто.

Не может быть войны у нас в крови.

Почему те, кто любит виноград и солнце, умирают лютой зимой ради одного человека?

А я? Потому что любил его. Он был моей страстью, а когда мы идем на войну, то перестаем быть пресными.

О чем думала Вилланель?

Мужчины склонны к насилию. Вот и все.

Быть с ней рядом — все равно, что смотреть в очень яркий калейдоскоп. Она излучала все цвета спектра и хотя лучше меня постигла неясности сердца, мыслила она ясно.

— Я родилась в городе лабиринтов, — говорила она, — но если ты спросишь у меня дорогу, я отвечу тебе сразу.

Наконец мы добрались до Итальянского королевства. Вилланель предложила сесть на корабль в Венецию и там пожить у ее родных, пока у меня не получится без особого риска вернуться во Францию. Взамен она попросит меня об услуге. Я должен помочь ей вновь обрести сердце.

— Оно все еще у моей возлюбленной. Я оставила его там. Хочу, чтобы ты помог мне его вернуть.

Я пообещал, но мне хотелось кое-чего взамен. Почему она никогда не снимает сапоги? Даже когда мы жили у крестьян в России. Даже в постели.

Она засмеялась и откинула волосы; ее глаза были веселыми, но между бровями залегли две глубокие морщины. Самая красивая женщина на свете.

— Я уже говорила. Мой отец был лодочником. Лодочники не снимают сапог. — Потом она умолкла, но я твердо решил после прибытия в этот зачарованный город как можно больше узнать о тамошних лодочниках и их сапогах.

Доплыли мы благополучно: в тихом сверкающем море война и зима казались делом далекого прошлого. Чужого прошлого. В мае 1813 года я впервые увидел Венецию.

Когда прибываешь в Венецию морем, как то и следует делать, город этот кажется придуманным: он встает из воды и подрагивает в воздухе. В раннем утреннем свете здания мерцают, словно никогда не остаются в покое. Город выстроен не по чертежам, которые я мог бы еще себе представить, а здесь и там дерзко вырывается из них. Растет как на дрожжах и принимает те формы, каких пожелает. Здесь нет ни рейда, ни пристаней для мелких судов; судно бросает якорь в лагуне, и не успеваешь моргнуть глазом, как оказываешься на площади Святого Марка. Я следил за лицом Вилланели — она возвращалась домой и не могла думать ни о чем другом. Переводила взгляд с храмов на кошек, радовалась увиденному и молча оповещала всех, что вернулась. Я завидовал ей. Я все еще был изгнанником.

Мы причалили; она взяла меня за руку и повела по немислимому лабиринту. Мы миновали то, название чего я перевел, как Мост Кулаков, прошли канал со странным именем «Туалетный», и наконец оказались у какой-то тихой протоки.

— Это задняя часть моего дома, — сказала она. — Парадная дверь выходит на канал.

Неужели их парадная дверь открывается прямо в воду?

Ее мать и отчим встретили нас с восторгом, который, я думаю, подобал только Блудному Сыну. Они принесли стулья и сели так близко, что мы соприкасались коленями. Мать то и дело вскакивала, убегала и приносила подносы с пирожными и кувшинами вина. Выслушав очередной рассказ, отчим Вилланели хлопал меня по спине и говорил «ха-ха», а мать тянула руки к изображению Мадонны и причитала:

— Какое счастье, что вы здесь!

То, что я француз, их нисколько не заботило.

— Не каждый француз — Наполеон Бонапарт, — говорил ее отчим. — Среди них много славных

ребят; правда, мужа Вилланели славным парнем не назовешь.

Я посмотрел на нее с испугом. Она никогда не говорила, что ее толстый муж — француз. Мне казалось, что ее французский она выучила, когда долго жила среди солдат.

Она пожала плечами, как делала всегда, когда не хотела пускаться в объяснения, и спросила, что с ее мужем.

— Приезжает и уезжает, как обычно, но ты можешь спрятаться.

Мысль о том, чтобы спрятать нас обоих, пустившихся в бега по разным причинам, казалась родителям Вилланели чрезвычайно привлекательной.

— Когда я была замужем за лодочником, — сказала ее мать, — каждый день что-то случалось, однако лодочники крепко держались друг за друга. Но теперь я замужем за булочником, — тут она ущипнула мужа за щеку, — и наши пути разошлись. — Глаза женщины сузились, и она придвинулась ко мне так близко, что на меня пахло тем, что она ела на завтрак. — Анри, я могла бы рассказать тебе такое, от чего волосы встают дыбом! — Она шлепнула меня по колену с такой силой, что я чуть не свалился со стула.

— Оставь мальчика в покое, — сказал ее муж. — Он шел пешком от самой Москвы.

— О Мадонна, как я могла об этом забыть? — воскликнула она и заставила меня съесть еще одно пирожное.

Я действительно был измучен. Когда у меня закружилась голова от съеденного и выпитого, женщина подвела меня к парадной двери и показала маленькую решетку с зеркалом, установленным под таким углом, чтобы видеть каждого, кто подплывает к воротам.

— Мы не всегда будем дома. Если придется открывать дверь, ты должен будешь знать, кто там. Еще одна предосторожность; думаю, тебе нужно сбрить бороду. Мы, венецианцы, не так волосаты. Ты будешь сильно отличаться от нас.

Я поблагодарил ее и проспал двое суток подряд.

Проснувшись на третий день, я обнаружил, что в доме тихо, а в моей комнате совершенно темно, потому что ставни плотно закрыты. Я распахнул их и впустил солнечный свет, который прикоснулся к моему лицу и разломился остриями пик на полу. В желтых лучах плясала пыль. Потолок моей комнаты был косым и низким, на стенах виднелись выцветшие квадраты от картин. Тут был умывальник и кувшин с ледяной водой. Но я так натерпелся от холода, что дерзнул опустить в воду лишь кончики пальцев и протереть заспанные глаза. Зеркало здесь тоже было — в рост человека, на крутящейся деревянной подставке. Оно местами потемнело, но я видел себя, худого, костлявого, со слишком большой головой и разбойничьей бородой. Они были правы — перед выходом на улицу следовало побриться. Из окна, выходящего на канал, я видел, что здесь все плавают на лодках. Грузовые лодки, пассажирские лодки, лодки с балдахинами, скрывавшими богатых дам, со шпангоутом, тонким, как лезвие ножа, и приподнятыми носами. То были очень странные лодки — их владельцы гребли стоя. На всем протяжении канала виднелись веселые полосатые столбы, стоявшие через равные промежутки. К некоторым были привязаны лодки; верхушки других, покрытые облупившейся золотой краской, отражали солнце.

Я выплеснул грязную воду с остатками бороды в канал и помолился, чтобы мое прошлое утонуло навсегда.

Заблудился я с самого начала. Там, куда приходит Бонапарт, тянутся прямые дороги, здания перестраиваются, улицы получают названия в честь одержанных побед, однако таблички с новыми названиями всегда висят на положенных местах. Здесь же таблички никого не волновали; если их и меняли, то с удовольствием пользовались прежними названиями. Даже Бонапарт не смог перестроить Венецию.

Это город безумцев.

Церкви попадались на каждом шагу; иногда казалось, что я на той же площади, но церкви на ней — другие. Возможно, они росли по ночам, как грибы, и к рассвету рассасывались. Или венецианцы строят их по ночам? В период расцвета здесь каждый день спускали на воду полностью готовый галеон. Так почему бы тогда не выстроить полностью готовую церковь? Единственным нормальным местом во всем городе был народный сад, но даже там в какую-нибудь туманную ночь из земли поднимались четыре призрачные церкви, попирая стоящие по ранжиру сосны.

Я пропадал пять дней, потому что не мог найти дом пекаря, а говорить с местными жителями по-

французски стеснялся. Я бродил, разыскивая булочные, принюхиваясь, как ищейка, и надеясь отыскать дорогу по запаху. Но находил только церкви.

Наконец я свернул за угол, который огибал, клянусь, уже сотни раз, и увидел Вилланель. Она сидела в лодке и заплетала косу.

— Мы думали, ты вернулся во Францию, — сказала она. — Мама выплакала по тебе все глаза. Она хочет, чтобы ты стал ее сыном.

— Мне нужна карта.

— Не поможет. Это живой город. Тут все меняется.

— Вилланель, города не меняются.

— Меняются, Анри.

Она велела мне сесть в лодку и пообещала накормить по дороге.

— Я проведу для тебя экскурсию, и ты больше не потеряешься.

Лодка пахла мочой и капустой, и я спросил Вилланель, чья она. Она ответила, что лодка принадлежит человеку, который держит медведей. Ее поклоннику. Я научился не задавать слишком много вопросов; ответы могли быть лживыми или правдивыми, но удовлетворения не приносили ни те, ни другие.

Мы свернули и поплыли по ледяным тоннелям, где было так холодно, что у меня застучали зубы. Мимо нас тянули мокрые грузовые баржи с их безмянным грузом.

— Этот город сворачивается сам в себя. В каналах прячутся другие каналы, а протоки пересекаются и скрещиваются так часто, что отличить их друг от друга может лишь тот, кто прожил здесь всю жизнь. Со временем ты научишься различать площади и сможешь уверенно добраться от Риальто до Гетто или выйти к лагуне, но все равно останутся места, которых ты не сумеешь найти. А если найдешь, то вряд ли вернешься на площадь Святого Марка. Отводи на дела как можно больше времени, будь готов искать другую дорогу, и если улицы заведут тебя в незнакомое место, займись тем, что прежде не приходило тебе в голову.

Мы гребли, похоже, описывая бесконечную восьмерку. Когда я сказал Вилланели, что она нарочно напускает туману, чтобы я не смог запомнить дорогу, она улыбнулась и ответила, что везет меня древним путем, который может запомнить только лодочник.

— Внутренние города не отмечены ни на одной карте.

Мы проплывали мимо разграбленных дворцов с окнами без ставень, из которых свисали шторы, и я то и дело примечал худые фигуры на полуобвалившихся балконах.

— Тут есть изгнанники. Люди, которых выжили французы. Эти люди мертвы, но они не исчезли.

Мы проплыли мимо группы детей со старыми и злобными лицами.

— Я везу тебя к своей подруге.

Канал, в который она свернула, был полон мусора и крыс, плававших розовыми брюшками вверх. Иногда он становился слишком узким, и Вилланель отталкивалась от стен, соскребая с них веслом несколько поколений плесени. Жить здесь было невозможно.

— Какое сейчас может быть время дня?

Вилланель засмеялась.

— Время ходить в гости. Я сегодня с другом.

Она причалила к вонючей нише, выбралась на хлипкий карниз из деревянных ящиков и присела на корточки. Там сидела женщина, такая опустившаяся и грязная, что ее трудно было принять за человека. Ее волосы светились; с приставшей к ним странной фосфоресцирующей плесенью женщина походила на подземного дьявола. С плеч свисали складки плотной ткани неопределенного цвета и рисунка. На одной руке было всего три пальца.

— Я уезжала, — сказала Вилланель. — Уезжала надолго, но больше не уеду. Это Анри.

Старуха продолжала рассматривать Вилланель. Наконец промолвила:

— Да, ты действительно уезжала, однако все это время я следила за тобой и иногда видела, как мимо проплывал твой призрак. Тебе грозила опасность. Она еще не миновала, но ты больше не уедешь. Во всяком случае, в этой жизни.

Там, где мы сидели, не было света. Дома по обе стороны канала стояли так близко друг к другу, что над нашими головами нависала арка. Так близко, что, казалось, крыши соприкасаются краями. Может, мы в сточной трубе?

— Я принесла тебе рыбу. — Вилланель вынула сверток; старуха понюхала его и спрятала под юбки. Потом обернулась ко мне.

— Берегись старых врагов в новых масках.

— Кто она? — спросил я, когда мы благополучно уплыли.

Вилланель пожала плечами, и я понял, что опять не получу истинного ответа.

— Изгнанница. Жила вот здесь. — Вилланель указала на заброшенный дом с двойными воротами. Дом тонул; в комнатах плескались волны. На верхних этажах устроили склады; из одного окна торчал шкив.

— Говорят, в те времена, когда она жила здесь, свет в доме не гас до рассвета, а в погребах хранились такие редкие вина, что человек, выпивший больше одного бокала, мог умереть. У нее было множество кораблей, и эти корабли привозили из-за моря товары, которые сделали ее одной из богатейших женщин Венеции. Люди говорили о ней с уважением, а ее мужа называли «Мужем Дамы со Средствами». Но она лишилась всего, когда Бонапарту приглянулись ее средства; говорят, ее драгоценности достались Жозефине.

— Жозефине достались драгоценности почти всех людей на свете, — ответил я.

Тайный город остался позади, и мы очутились среди квадратов солнечного света и широких каналов, где могли разминуться восемь или девять лодок и еще оставалось место для утлого кораблика, на котором катали приезжих.

— Сейчас их время. А если пробудешь здесь до августа, отпразднуешь день рождения Бонапарта. Но к тому времени он может умереть. В таком случае, тебе придется остаться до августа и отпраздновать его похороны.

Она остановила лодку у внушительного шестизэтажного здания, гордо возвышавшегося над чистым каналом — место считалось в Венеции престижным.

— В этом доме хранится мое сердце. Анри, ты должен забраться внутрь и вернуть его мне.

Она что, сошла с ума? То была аллегория. Ее сердце находилось в ее теле, как и мое — в моем. Я попытался объяснить это, но она взяла мою руку и приложила ее к своей груди.

— Проверь сам.

Я проверил. Честно водил рукой вверх и вниз, но не чувствовал ничего. Потом нагнул, уперся ногами в дно лодки, приложил ухо к ее груди, и проплывавший мимо гондольер понимающе улыбнулся.

Я не услышал ни звука.

— Вилланель, если б у тебя не было сердца, ты была бы мертва.

— Ты жил среди солдат. Думаешь, у них были сердца? Думаешь, в жирном теле моего мужа бьется сердце? — Настал мой черед пожимать плечами.

— Ты сама знаешь, что так не бывает.

— Знаю. Но я уже говорила тебе, Венеция — город необычный. Здесь все иначе.

— Ты хочешь, чтобы я забрался в этот дом и нашел твое сердце?

— Да.

Фантастика...

— Анри, когда ты уходил из Москвы, Домино дал тебе сосульку с золотой цепочкой. Где она?

Я ответил, что не знаю. Должно быть, сосулька растаяла в моем ранце, а цепочка выпала. Мне было стыдно, но после смерти Патрика я перестал заботиться о вещах, которые когда-то любил.

— Она у меня.

— Ты взяла золото? — не веря своим ушам, спросил я. Должно быть, она нашла ее; если так, то память о Домино останется при мне.

— Я взяла ледышку. — Она порылась в сумке и вынула льдинку, такую же холодную и твердую, как в тот день, когда Домино отодрал ее от брезента и отправил меня в путь. Я повертел ее в руках. Лодка покачивалась на волнах, чайки летели по своим делам. Я посмотрел на Вилланель. В моем взгляде сквозило множество вопросов, но она лишь пожала плечами и отвернулась к дому.

— Вечером, Анри. Вечером они будут в театре «Ла Фениче». Я привезу тебя сюда и подожду. Я бы сделала это сама, но боюсь, что не сумею вернуться.

Она забрала у меня сосульку.

— Когда ты принесешь мне мое сердце, я верну тебе это чудо.

— Я люблю тебя, — сказал я.

— Ты мой брат, — ответила она, и мы уплыли.

Мы ужинали, и ее родители расспрашивали меня о моих родных.

— Я родился в деревне, окруженной ярко-зелеными холмами, на которых растут одуванчики.

Зимой река между ними топит берега, а летом пересыхает и тонет в грязи. Мы зависим от реки. Зависим от солнца. Там нет ни улиц, ни площадей, только маленькие домики, обычно одноэтажные; тропинки между ними не проложены искусными руками, а протоптаны множеством ног. У нас нет церкви — вместо нее у нас амбар, в котором зимой хранится сено. Революции мы не заметили. Она застала нас врасплох, как и вас. Мы думаем о дереве у нас в руках и зерне, которое выращиваем, а иногда — о Боге. Моя мать была набожной женщиной; отец говорил, что когда она умирала, то протянула руки к иконе Божьей Матери, и ее лицо засветилось. Она умерла случайно. На нее упала лошадь и сломала ей бедро. У нас не было лекарств — лекарства у нас есть только от колик и безумия. Это случилось два года назад. Мой отец все еще ходит за плугом и ловит кротов, что кромсают поля. Будь моя воля, я вернулся бы к жатве и помог ему. Мое место там.

— Анри, ты в своем уме? — саркастически спросила Вилланель. — Ты учился у священника, путешествовал и сражался. Неужели тебе не терпится вернуться к своим коровам?

Я пожал плечами.

— Какой прок от ума?

— Ты мог бы нажать здесь состояние, — сказал ее отец. — Тут много возможностей для молодого человека.

— Ты можешь остаться с нами, — сказала ее мать.

Но Вилланель не сказала ничего, а я не мог остаться и быть ей братом, потому что мое сердце кричало от любви к ней.

— Знаешь, — сказала ее мать, взяв меня за руку, — этот город не чета другим. Париж? Я на него плюю. — Она действительно плюнула. — Что такое Париж? Несколько бульваров и дорогих магазинов. А здесь есть тайны, ведомые только мертвым. Я уже говорила, что у здешних лодочников на ступнях перепонки. Нет, не смейся, это правда. Я знаю это, потому что моим первым мужем был лодочник, от которого я родила нескольких мальчиков. — Она помахала ногой в воздухе и попыталась дотянуться до носка. — У каждого из них между пальцами были перепонки, и поэтому они ходили по воде.

Ее муж не гоготал и не стучал кружкой по столу, как делал обычно, когда ему было весело. Он встретил мой взгляд и слегка улыбнулся.

— Мужчина должен быть готов ко всему. Спроси Вилланель.

Но та поджала губы и вскоре вышла из комнаты.

— Ей нужен новый муж, — едва не взмолилась ее мать. — Как только этого человека не станет... В Венеции часто бывают несчастные случаи; тут темно, а вода глубока. Кого удивит еще одна смерть?

Муж положил ладонь на ее руку.

— Не искушай судьбу.

После трапезы отец Вилланели задремал, а мать села вышивать. Вилланель отвела меня вниз, и черная лодка заскользила по черной воде. Она сменила лодку, пахшую мочой и капустой, на гондолу и гребла стоя, грациозно работая веслом. Она сказала, что это более удобная маска; гондольеры часто крутятся у богатых домов, надеясь на заработок. Я хотел спросить, где она взяла лодку, но поперхнулся, увидев знак на носу.

То была погребальная лодка.

Вечер стоял прохладный, но не темный; ярко светила луна, и на воду падали наши нелепые тени. Вскоре мы оказались у ворот; как и обещала Вилланель, дом выглядел пустым.

— Как я войду? — прошептал я, когда она привязала лодку к железному кольцу.

— Вот. — Она протянула мне ключ. Гладкий и плоский, как отмычка. — Я хранила его на счастье.

Но счастья он не принес.

— Как я найду твое сердце? В этом доме шесть этажей.

— Слушай, как оно бьется. Ищи в самых неожиданных местах. Если станет опасно, я крикну, как летящая над водой чайка, и ты быстро вернешься.

Я оставил ее, вошел в просторный вестибюль и столкнулся чешуйчатым чудищем в рост человека; из его башки торчал рог. Я едва не вскрикнул, но сумел сдержаться. Прямо передо мной изгибалась вбок и исчезала в середине дома деревянная лестница. Я решил, что начну с чердака, а потом буду спускаться ниже. Конечно, я ничего не найду, но если не смогу описать Вилланели каждую комнату, она заставит меня вернуться — это уж точно.

За первой дверью, которую я открыл, не было ничего, кроме клавесина.

Во второй комнате — пятнадцать витражей.

В третьей окон не было вовсе, а на полу стояли два открытых гроба, изнутри обитые белым шелком.

Вдоль стен четвертой тянулись полки, набитые книгами в два ряда. Тут была стремянка.

В пятой комнате горел свет; одну стену закрывала карта мира. На ней в морях плавали киты, а ужасные чудовища грызли сушу. Были отмечены дороги — временами они исчезали в земле и внезапно обрывались у берега моря. В каждом углу комнаты стоял баклан с извивавшейся рыбой в клюве.

Шестая представляла собой комнату для рукоделья; здесь лежала рама с гобеленом, законченным на три четверти: молодая женщина по-турецки сидела перед колодой карт. Это была Вилланель.

Седьмая комната оказалась кабинетом; письменный стол был завален тетрадами, исписанными тонким, бисерным почерком. Я не смог его разобрать.

В восьмой был только бильярдный стол и маленькая дверь сбоку. Меня потянуло к ней: я обнаружил просторный чулан с платьями всех видов и фасонов, пахшими мускусом и благовониями. Комната женщины. Страха я не чувствовал. Мне захотелось зарыться лицом в платье, лечь на пол и погрузиться в этот аромат. Я думал о Вилланели, о ее волосах на моем лице и пытался представить ее наедине с этой благоухающей, обольстительной женщиной. Вдоль стен стояли шкатулки черного дерева с монограммами. Я открыл одну и увидел множество маленьких хрустальных флаконов. Внутри таились запахи, изысканные и опасные. В каждом флаконе — не больше пяти капель; я сделал вывод, что это эссенции огромной ценности и силы. Не соображая ничего, я положил один флакон в карман и уже собрался было выйти. И тут меня остановил какой-то звук. Звук, который не могла произвести ни мыши, ни жуки. Громкий равномерный стук, похожий на сердцебиение. Мое собственное сердце замерло, и я начал перебирать платье за платьем, спеша и разбрасывая обувь и нижнее белье. Потом сел на корточки и снова прислушался. Стук доносился откуда-то снизу.

Я встал на четвереньки, заполз под вешалку и вскоре обнаружил темно-синий кувшин, завернутый в шелковую сорочку. Кувшин бился. Я не дерзнул откупорить его. Не дерзнул посмотреть на эту неслыханно дорогую вещь. Просто взял, не разворачивая, прошел по двум оставшимся этажам и выскользнул в пустую ночь.

Вилланель сгорбившись сидела в гондоле и смотрела на воду. Услышав шаги, она протянула мне руку, помогла забраться в лодку и, не задавая вопросов, быстро поплыла в лагуну, как можно дальше от дома. Когда она остановилась наконец, на ее лице сверкали капли пота, в свете луны казавшиеся серебряными. Я протянул ей сверток.

Она глубоко вздохнула, дрожащими руками взяла кувшин и заставила меня отвернуться.

Я услышал хлопок пробки и звук, похожий на шипение вырвавшегося наружу газа. Раздались жуткие звуки — Вилланель сглатывала и давилась чем-то, и только страх удержал меня на другом борту. Мне казалось, она умирает.

А потом настала тишина. Она коснулась моей спины. Я повернулся, и она снова взяла мою руку и приложила к своей груди.

Ее сердце билось.

Невероятно...

Говорю вам, ее сердце билось!

Она попросила у меня ключ, сунула его и сорочку в темно-синий кувшин, бросила тот в воду и улыбнулась настолько лучисто, что даже если бы это был розыгрыш, он бы стоил одной ее улыбки. Она спросила, что я видел, и я рассказал ей про каждую комнату, а когда заканчивал рассказывать про одну, она спрашивала про следующую, и потом я рассказал ей о гобелене. Вилланель побелела как мел.

— Но ты говоришь, он не закончен?

— Закончен на три четверти.

— И то была я? Ты уверен?

Почему она так расстроилась? Если б гобелен был закончен и эта женщина вплела в него сердце, Вилланель стала бы ее вечной пленницей.

— Вилланель, я ничего в этом не понимаю.

— Больше не думай об этом. Я получила свое сердце, а ты получишь свое чудо. Теперь мы оба можем наслаждаться ими. — С этими словами она распустила волосы и повезла меня к дому сквозь этот красный лес.

Спал я плохо; мне снились слова старухи: «Берегись старых врагов в новых масках». Но когда утром мать Вилланели разбудила меня и принесла яйца и кофе, ночь миновала, и кошмары показались мне продолжением все той же фантазии.

Это город безумцев.

Ее мать сидела рядом с моей кроватью, болтала и уговаривала жениться на Вилланели, когда ее дочь будет свободна.

— Сегодня ночью я видела сон, — сказала она. — Мне снилась смерть. Анри, попроси ее выйти за тебя.

Когда днем мы вышли из дома, я и попросил, а Вилланель покачала головой.

— Я не могу отдать тебе свое сердце.

— Я и не собираюсь владеть им.

— Может быть, но я обязана отдать его. Ты мой брат.

Когда я рассказал о случившемся ее матери, та перестала печь хлеб.

— Ты для нее слишком нормальный, а ей нужны безумцы. Я прошу ее успокоиться, но этого не случится. Она хочет, чтобы каждый день была Троица.

Потом она что-то бормотала об ужасном острове и ругала себя, но кто знает этих венецианцев, когда они бормочут про себя; это их дела.

Я начинал подумывать об отъезде во Францию, и хотя мысль о том, что я не буду видеть Вилланель каждый день, леденила мне сердце хуже самой лютой зимы, я помнил ее слова в русской избе, когда мы пили дьявольский спирт...

«Какой смысл любить человека, рядом с которым можно проснуться лишь случайно?»

Говорят, этот город может переварить кого угодно. Похоже, здесь каждой твари по паре. Есть мечтатели, поэты, художники с носами, выпачканными краской, и бродяги вроде меня, что оказались здесь случайно и остались навсегда. Они вечно что-то разыскивают, путешествуют по миру, переплывают девять морей, но ищут повод, чтобы остаться здесь. Я ничего не ищу, я нашел то, чего желал, но не могу овладеть им. Если бы я остался, то не из надежды, а из страха. Страх одиночества, страха расставания с женщиной, рядом с которой вся остальная моя жизнь кажется тенью.

Я говорю, что влюблен в нее. Что это значит?

Это значит, что я вижу свое будущее и прошлое при свете этого чувства. Как будто до того писал на неведомом языке — и вдруг стал понимать написанное. Она без слов объясняет меня мне самому. И, как всякий гений, не догадывается, что делает.

Я был плохим солдатом, потому что слишком переживал, что будет дальше. Я не мог забыть ни под огнем пушек, ни в ненависти рукопашной схватки. Разум опережал меня, рисуя пейзажи мертвых полей, которые возделывали годами, а погубили в один день.

Я остался, потому что мне некуда было идти.

Не хочу делать этого снова.

Неужели все влюбленные рядом с любимыми беспомощны и храбры одновременно? Беспомощны — ибо комнатными собачонками хотят опрокинуться на спину. Храбры — ибо очутись рядом дракон, могли бы сразить его карманным ножом.

Когда я мечтаю в ее объятиях о будущем, мне кажется: не будет ни пасмурных дней, ни холода. Как ни глупо, но я действительно начинаю верить, что мы будем счастливы вечно, а наши дети изменят мир.

Я говорю так же, как солдаты, мечтавшие о доме...

Нет. Она исчезала бы на несколько дней кряду, а я бы рыдал. Забывала бы о том, что у нас есть дети, и бросала их на меня. Проиграла бы наш дом, а увези я ее во Францию, она бы меня возненавидела.

Я знаю все, но это ничего не меняет.

Она бы никогда не смогла быть верной.

Стала бы смеяться мне в лицо.

Я бы всегда боялся ее тела, что имеет надо мной такую власть.

И все же, все же... При мысли об отъезде у меня в груди ворочались камни.

Одержимость. Первая любовь. Похоть.

Мою страсть можно было бы объяснить. Но сомневаться не приходится: все, к чему бы она ни прикоснулась, становится явным.

Я постоянно думаю о ее теле. Не о том, как овладеть им, а о том, как оно изгибается во сне. Она

не знает покоя — ни в лодках, ни когда она бежит во всю прыть с кочанами капусты под мышками. Нервы здесь ни при чем; для нее сам покой неестественен. Когда я говорил Вилланели, что люблю лежать в ярко-зеленом поле и смотреть в ярко-синее небо, она отвечала:

— Это можно и после смерти, только скажи, чтобы гроб не закрывали.

Но о небе она знает. Я вижу из окна, как она медленно гребет и смотрит в безукоризненную синеву, разыскивая первую звезду.

Она решила научить меня грести. Точнее, грести по-венциански. На рассвете мы сели в красную гондолу, на которых плавает полиция. Я не стал спрашивать, где она ее взяла. В те дни она была очень счастлива, часто клала мою руку себе на грудь, словно больная, которую вернули с того света.

— Если ты все же решишь пасти коз, я, по крайней мере, успею научить тебя чему-то полезному.

На досуге смастеришь лодку, будешь плавать по реке, о которой рассказывал, и думать обо мне.

— Если б ты захотела, могла бы поехать со мной.

— Не хочу. Что я буду делать с мешками кротов и без единого игрового стола?

Я знал это, но мне все равно не хотелось этого слышать.

Прирожденным гребцом я не был и несколько раз опрокидывал лодку. Когда мы оказывались в воде, Вилланель хваталась за мой воротник и кричала, что тонет.

— Ты ведь живешь на воде, — отвечал я, когда она топила меня и орала во всю мочь.

— Верно. На воде, но не в воде.

Как ни странно, плавать она не умела.

— Лодочникам не нужно уметь плавать. Они никогда не падают в воду. Мы не можем вернуться домой, пока не высохнем. Иначе нас засмеют.

Однако даже ее рвения не хватало, чтобы я все научился делать правильно, и вечером она выхватила у меня весла, тряхнула еще влажными волосами и сказала:

— Лучше пойдем в Игорный дом. Может, там тебе повезет больше.

Раньше я в Игорном доме не был, и он разочаровал меня, как некогда бордель. Воображение рисует злачные места греха куда более греховными, чем они есть на самом деле. Красный плюш оказывается совсем не таким ошеломляюще красным, как представлялось. Ноги у женщин — совсем не такие длинные, как ты думал. Кроме того, в воображении такие места всегда бесплатны.

— Если тебе это интересно, наверху есть комната для бичеваний, — сказала она. Нет. Это меня не интересовало. Я знал, что такое бичевания. Слышал от своего друга кюре. Святым нравится, когда их бичуют; я видел множество картин, на которых мученики со страстными взглядами покрыты экстатическими шрамами. Бичевать обычного человека — совсем другое дело. Плоть святых нежна, бела и вечно скрыта от солнечного света. Миг наслаждения наступает, когда до этого тела добирается плеть; именно в этот миг все скрытое становится явным.

Я предоставил ее самой себе, а когда увидел весь этот холодный мрамор, ледяные бокалы, побитое сукно, отошел к окну, сел в кресло и задумался о сверкавшем внизу канале.

Итак, с прошлым покончено. Я сбежал. Такое возможно.

Я думал о своей деревне и том костре, что мы устраивали в конце зимы, избавляясь от кучи ненужных вещей и радуясь предстоящей жизни. Восемь лет солдатчины канули в канал вместе с бородой, которая мне не шла. Восемь лет Бонапарта. Я видел свое отражение в стекле; то было лицо человека, которым я стал. За своим отражением я видел Вилланель — она вжалась спиной в стену, а какой-то мужчина преграждал ей путь. Вилланель наблюдала за ним спокойно, но ее плечи напряглись, и я понял, что она боится.

Его огромная черная фигура напоминала распахнутый плащ матадора.

Он стоял, расставив ноги. Одной рукой опирался о стену, а вторая лежала в кармане. Внезапно она быстро оттолкнула его; его рука так же стремительно вылетела из кармана и ударила ее по лицу. Услышав пощечину, я вскочил. Она нырнула под его руку, пролетела мимо и кинулась вниз по лестнице. Думая только о том, что обязан опередить его, я открыл окно и прыгнул в канал.

Я с шумом плюхнулся в воду, вынырнул весь в водорослях, поплыл к лодке и отвязал веревку.

Когда Вилланель прыгнула в нее, как кошка, я велел ей грести и попытался перевалиться через борт. Она гребла, не обращая на меня внимания, а я волочился за лодкой, как ручной дельфин, которого держит человек с Риальто.

— Это он, — сказала она, когда я наконец залез в лодку и рухнул к ее ногам. — Я думала, он еще не вернулся; на моих шпионов можно положиться.

— Твой муж?

Она плюнула.

— Да, муж. Сальный и жирный мудака.

Я приподнялся.

— Он плывет за нами.

— Я знаю дорогу; как-никак, я дочь лодочника.

От поворотов и скорости у меня закружилась голова. Мышцы на ее руках бугрились так, что грозили прорвать кожу, а когда мы плыли мимо фонаря, я видел ее вздувшиеся вены. Она тяжело дышала и вскоре вымокла так же, как и я. Протока становилась все уже, и мы наконец уперлись в глухую белую стену. В последнюю секунду, когда я думал, что лодка треснет и развалится, как куча плавника, Вилланель описала немыслимую кривую и направила гондолу в узкую дыру мокрого тоннеля.

— Спокойно, Анри. Скоро будем дома.

«Спокойно»... Я никогда не слышал от нее такого слова.

Мы проплыли в ворота и уже собирались привязать лодку, как вдруг из темноты беззвучно выскользнул нос гондолы и я уставился в лицо повара.

Повар.

Складки, окружавшие его рот, раздвинулись в подобии улыбки. За прошедшие годы он стал намного толще; дряблые щеки напоминали дохлых кротов, а голова уходила в жирные плечи. Глаза превратились в щелки, а брови, и прежде широкие, стали напоминать пиявок. Он положил руки на борт лодки — пухлые руки, с натянутыми на костяшки перстнями. Красные руки.

— Анри, — сказал он. — Какая честь.

Вилланель удивленно посмотрела на меня; но побороť отвращения при взгляде на него она смогла. Он заметил эту борьбу, прикоснулся ее руки — она поморщилась — и промолвил:

— Можно сказать, что Анри принес мне удачу. Благодаря ему и его маленьким фокусам меня взашей выперли из Булони и отправили в Париж присматривать за складами. Но я никогда ни за чем не присматривал без выгоды для себя. Анри, неужели ты не рад встрече со старым другом, которому повезло?

— Я не хочу иметь с тобой ничего общего, — ответил я.

Он снова улыбнулся, и на этот раз я увидел его зубы. Вернее, то, что от них осталось.

— Однако имеешь. Тебе явно приглянулась моя жена. *Моя жена*, — с нажимом повторил он. Потом его лицо приняло прежнее выражение, хорошо мне знакомое. — Анри, ты удивил меня. Разве ты не должен быть в своем полку? Сейчас неподходящее время для отпуска. Даже если ты любимчик самого Бонапарта.

— Это не твое дело.

— Верно. Но ты ведь не будешь возражать, если я расскажу о тебе кое-кому из своих друзей, правда?

Он повернулся к Вилланели.

— У меня есть и другие друзья, которые будут рады узнать, что случилось с тобой. Друзья, которые заплатили кучу денег за то, чтобы с тобой познакомиться. Думаю, будет проще, если ты сейчас пойдешь со мной.

Она плюнула ему в лицо.

То, что случилось потом, я не могу понять до сих пор, хотя для раздумий у меня было много лет. Спокойных лет, когда меня ничто не отвлекало. Помню, после плевка он наклонился и попробовал поцеловать ее. Помню, он открыл рот и потянулся к ней. Его руки отпустили борт лодки, тело изогнулось. Его рука прошла по ее груди. Его рот. Лучшее всего я помню его рот. Бледно-розовый рот, пещера плоти; а там шевелится язык — точно червяка, показавшийся из дыры. Она оттолкнула его; повар, распластавшийся между двумя лодками, потерял равновесие, навалился на меня и чуть не раздавил. Он схватил меня за горло; Вилланель вскрикнула и бросила мне свой нож. Венецианский стилет, тонкий и жестокий.

— Бей в мякоть, Анри, как портовые!

Я схватил нож и вонзил его в мягкий бок. Повар откатился в сторону, я ударил его в живот и услышал, как нож пробил кишки. Клинок разозлился, что его вырвали из плоти, и я снова всадил его в тело, разжиревшее от долгих лет сытой жизни. Тело, вскормленное гусятиной и вспоенное кларетом, вскоре обмякло. Моя рубашка промокла от крови. Вилланель стащила его с меня — вернее, стащила наполовину, и я встал, твердо держась на ногах. Попросил Вилланель помочь перевернуть его; при этом она не спускала с меня глаз.

Когда мы перевалили повара окровавленным брюхом вверх, я разорвал крахмальную рубашку и посмотрел на его грудь. Такая же белая и безволосая, как плоть святых. Неужели святые и демоны так похожи? Соски у него — такие же, как губы.

— Вилланель, ты говорила, что у него нет сердца. Сейчас увидим.

Она выставила было руку, но я уже вспорол кожу своим серебряным дружком, таким охочим до крови. Вырезал в нужном месте треугольник и сунул в дыру руку — словно вынимал сердцевину из яблока.

У него было сердце.

— Вилланель, оно тебе нужно?

Она покачала головой и заплакала. Я никогда не видел ее в слезах — ни в ту лютую зиму, ни когда умирал наш друг. Ни в пасти униженья, ни когда она рассказывала о нем. Но теперь она плакала, и я обнял ее, уронив сердце между нами, и рассказал о принцессе, чьи слезы становились драгоценными камнями.

— Я испачкал тебе одежду, — сказал я, заметив на ней пятна крови. — Посмотри на мои руки.

Она кивнула, а окровавленный кусок синего мяса лежал между нами.

— Анри, нам нужно отогнать лодки.

Но в борьбе мы потеряли оба своих весла и одно его. Она обхватила меня за голову, словно взвешивая ее, а потом крепко взяла за подбородок.

— Сиди спокойно. Ты сделал все, что мог. Теперь моя очередь.

Я сел, уронил голову в колени и уставился на дно лодки, залитое кровью. Мои ноги покоились в крови.

Повар лежал лицом вверх, не сводя глаз с Господа.

Лодки двинулись. Его гондола скользнула вперед первой; моя двинулась следом на буксире — так мальчишки связывают на пруду свои кораблики.

Мы плыли. Куда?

Я резко поднял голову и увидел Вилланель — спиной ко мне, она перекинула канат через плечо и шла по воде, таща за собой наши гондолы.

Ее сапоги аккуратно лежали на дне лодки. Ее волосы были распущены.

Я в красном лесу, и она вела меня домой.

СКАЛА

Говорят, что мертвые молчат. Говорят, нем как могила. Это неправда. Мертвые говорят всегда. Я слышу их, когда на мою скалу налетает ветер.

Я слышу Бонапарта; он недолго протянул на своей скале. Похудел, простудился, и, пережив египетскую чуму и лютую зиму, умер там, где было тепло и сыро.

Русские вошли в Париж; мы не сожгли его, мы махнули на него рукой. Они взяли его и восстановили монархию.

Его сердце пело. Пело на пустынном острове, где дует ветер и живут чайки. Он ждал своего часа, как третий сын, уверенный в том, что вероломные братья не смогут его перехитрить. Этот час настал. Под просоленным конвоем бесшумных кораблей он вернулся на сто дней и встретил свое Ватерлоо.

Что они могли с ним сделать? Эти победоносные генералы и праведные нации?

Ты играешь, выигрываешь, играешь, проигрываешь. Играешь.

Конец каждой игры — опустошение. Ты не чувствуешь того, что надеялся; то, что ты считал важным, теряет значение. Возбуждает только сама игра.

А если выиграешь?

Не бывает ограниченной победы. Ты должен защищать завоеванное. Должен относиться к этому

всерьез.

Победители проигрывают, когда устают побеждать. Может, потом они об этом жалеют, но внезапное желание поставить на кон нечто неслыханно ценное слишком сильно. Внезапное желание снова стать безрассудным, пройтись по земле босиком, как ходил, когда еще не получил в наследство все сапоги на свете.

Он никогда не спал, у него была язва, он развелся с Жозефиной и женился на самовлюбленной суке (впрочем, ничего лучшего он и не заслуживал), поскольку стремился основать династию, способную защитить его империю. У него не было друзей. На секс уходило не больше трех минут; при этом он даже не удосуживался отстегнуть шпагу. Европа его ненавидела. А французы устали воевать, воевать и воевать.

Он был самым могущественным человеком в мире.

Вернувшись со своего первого острова, он вновь почувствовал себя мальчиком. Героем, которому нечего терять. Спасителем с одной сменой белья.

Когда они победили его во второй раз и выбрали для него скалу помрачнее, где свирепствует прилив и не с кем поговорить, он оказался погребенным заживо.

Третья коалиция. Сила, которая должна была сдерживать безумца.

Я ненавидел его, но они были не лучше. Мертвые мертвы, на какой бы стороне ни сражались.

Трое безумцев против одного. Побеждает число. А не праведность.

Когда поднимается ветер, я слышу его плач. Он приходит ко мне, не успев вымыть руки после трапезы, и спрашивает, люблю ли я его. Его лицо умоляет сказать «да», а я думаю о тех, кто отправился с ним в ссылку и один за другим уплыли домой на крошечных кораблицах.

Почти все они везли с собой тетради. Его биографии, его чувства на той скале. Собирались нажать состояния, выставляя напоказ это охромевшее чудовище.

Даже его слуги научились писать.

Он как одержимый говорит о своем прошлом, потому что у мертвых нет будущего, а их настоящее — лишь в воспоминаниях. Они обитают в вечности, поскольку время остановилось.

Жозефина еще жива и недавно ввезла во Францию герань. Я сказал ему об этом, но он ответил, что не любит цветы.

Моя комната очень мала. Если я ложусь, чего предпочитаю не делать по причинам, которые объясню позже, то достаю до каждого угла. Достаточно вытянуться. Впрочем, у меня есть окно; в отличие от большинства здешних окон, оно не зарешечено. Полностью открыто; в нем нет стекла. Я могу высовываться в него, обводить взглядом лагуну, а иногда вижу Вилланель в лодке.

Она машет мне носовым платком.

Зимой я занавешиваю окно плотной шторой из мешковины в два слоя и прижимаю ее к полу стульчаком. Помогает неплохо (особенно если завернуться в одеяло), и все же я страдаю от катаракты. Видите, я стал настоящим венецианцем. Пол устлан соломой, как у меня дома: иногда я просыпаюсь от запаха овсянки, густой и черной. Я люблю такие дни; это значит, что мама здесь. Она выглядит как обычно, может только, чуть помоложе. Слегка припадает на ногу, которую сломала лошадь, но комната так мала, что ходить особенно некуда.

К завтраку у нас будет теплый хлеб.

Кровати здесь нет, но есть две больших подушки. Когда-то в них тоже было сено. Но за прошедшие годы я набил их перьями чаек и теперь сплю, сидя на одной, а другую подложив под спину. Во-первых, это удобно; во-вторых, так он не сможет меня задушить.

Когда я только прибыл сюда (не помню, сколько лет прошло с тех пор), он пытался душить меня каждую ночь. Я лежал в комнате, которую делил с другими, чувствовал прикосновение его рук к моей шее, ощущал его дыхание, вонявшее рвотой, и видел его пухлый розовый, ядовито-розовый рот, тянувшийся ко мне, чтобы поцеловать.

Через некоторое время мне дали отдельную комнату. Я мешал остальным.

Здесь только еще у одного человека есть своя комната. Он прожил здесь почти всю жизнь и несколько раз сбежал. Его привозят обратно полуживого: он думает, что может ходить по воде. У него есть деньги, и поэтому его комната очень удобна. У меня бы тоже могли быть деньги, но я не хочу брать их у нее.

Мы спрятали лодки в вонючем тоннеле, куда свозят мешки с мусором, и Вилланель снова надела

сапоги. Именно тогда я в первый и последний раз видел ее ступни... если их можно назвать ступнями. Она раскладывает их, как веер, и складывает так же. Я хотел их потрогать, но руки у меня были в крови. Мы оставили его лежать лицом вверх, бросили рядом сердце и уши. По дороге Вилланель обнимала меня — чтобы утешить и прикрыть кровь на одежде. Когда кто-то шел мимо, она прижимала меня к стене и страстно целовала, заслоня собой. Так мы и любили друг друга.

Она рассказала обо всем родителям; потом все трое принесли горячей воды, вымыли меня и сожгли мою одежду.

— Я видела во сне смерть, — сказала ее мать.

— Помалкивай, — велел отец.

Они закутали меня в руно, уложили рядом с печью на матрас ее брата, и я уснул невинным сном, не подозревая, что Вилланель всю ночь молча сторожила меня. Сквозь сон я слышал, как они говорили:

— Что будем делать?

— Сюда придет полиция. Я его жена. Вы сюда не лезьте.

— А как быть с Анри? Даже если он ни в чем не виноват, он француз.

— Я позабочусь об Анри.

Услышав эти слова, я уснул как младенец.

Наверное, мы знали, что нас схватят.

Следующие несколько дней мы старались набить свои наслаждением. Каждое утро вставали на рассвете и бесчинствовали в церквях. То есть, Вилланель грелась за счет яркости и драмы Господней, даже не задумываясь о Нем, а я сидел на ступеньках и играл в «крестики-нолики».

Мы водили руками по каждой теплой поверхности и высасывали солнце из железа, дерева и свалявшегося меха миллионов кошек.

Ели только что пойманную рыбу. Вилланель катала меня вокруг острова в парадной гондоле, позаимствованной у епископа.

На второй вечер нескончаемый летний дождь затопил площадь Святого Марка; мы стояли с краю и наблюдали, как двое венецианцев форсируют ее на паре стульев.

— Сядь ко мне на спину, — сказал я.

Она недоверчиво глянула на меня.

— Я не могу ходить по воде, но умею перебираться вброд. — С этими словами я снял башмаки, отдал ей, и мы медленно побрели по широкой площади. У Вилланели были очень длинные ноги, и ей приходилось подбирать их, чтобы не замочить. Когда мы добрались до другой стороны, я окончательно выдохся.

— Неужели этот малыш прошел пешком от самой Москвы? — поддразнила она.

Мы взяли за руки и пошли ужинать. После ужина она показывала мне, как нужно есть артишоки.

Наслаждение и опасность. Самое большое удовольствие — наслаждение на грани опасности. Именно боязнь проигрыша роднит победу в игре с любовным актом. На пятый день, когда наши сердца почти перестали колотиться, нас уже не так заботило, каким окажется закат. Тупая боль, засевавшая в голове, когда я убил его, утихла.

А на шестой день за нами пришли.

Они пришли рано, очень рано, когда лодки везли овощи на рынок. Без предупреждения. Приплыли втроем, в блестящей черной гондоле с флагом. Сказали, что хотят задать нам несколько вопросов, только и всего. Известно ли Вилланели, что ее муж мертв? Что случилось после того, как мы с ней спешно покинули Игорный дом?

Последовал ли он за нами? Видели ли мы его?

Казалось, Вилланели, как его бесспорной законной жене, должно достаться значительное состояние — если, разумеется, она не убийца. Вилланель должна была подписать бумаги на получение наследства, и ее увели опознавать тело. Мне посоветовали не покидать дом, а для гарантии, что я последую этому совету, у ворот оставили человека, который с удовольствием грелся на солнышке.

Мне хотелось лежать в ярко-зеленом поле и смотреть в ярко-синее небо.

Она не появилась ни в тот вечер, ни на следующий, а человек у ворот все ждал. Когда на третье утро она вернулась, с нею пришли двое мужчин. Она предупредила меня взглядом, но не смогла

сказать ни слова, и меня увели молча. Адвокат повара, коварный скрюченный мужчина с бородавкой на щеке и красивыми руками, прямо сказал мне, что считает Вилланель убийцей, а меня — сообщником. Подпишу ли я признание? Если да, то он согласится взглянуть сквозь пальцы на мое исчезновение.

— Мы, венецианцы, не настолько грубы, — сказал он.

А что будет с Вилланелью?

Условия завещания повара были довольно любопытными: он не попытался лишить жену ее прав и не разделил состояние между другими людьми. Просто написал: если моя жена по какой-либо причине (в том числе из-за отсутствия) не сможет стать наследницей, все состояние перейдет к Церкви.

Он явно не ожидал, что увидит Вилланель еще раз, но при чем тут Церковь? Едва ли он когда-нибудь бывал в храме... Должно быть, мое удивление оказалось явным, потому что адвокат простодушно объяснил: повару нравилось смотреть на мальчиков в красном из церковного хора. Он едва заметно улыбнулся. Если улыбка его и намекнула на нечто большее, чем уважение покойного к религиозным обрядам, намек он спрятал тотчас.

А ему-то что за дело, подумал я. Кому достанутся деньги? Адвокат не был похож на человека с совестью. И тут я впервые в жизни осознал свое могущество. Могущество человека, которому выпала дикая карта.

— Это я его убил, — сказал я. — Заколос ножом и вырезал сердце. Показать вам форму дыры, которую я проделал в его груди?

Я нарисовал на пыльном подоконнике треугольник с рваными краями.

— Его сердце было синим. Вы знали, что сердца синие? Вовсе не красные. Синий камень в красном лесу.

— Вы безумны, — сказал адвокат. — Ни один здоровый человек не стал бы так убивать.

— Ни один здоровый человек не стал бы жить, как он.

Мы стояли и молчали. Я слышал его сопение, шершавое, как наждак. Его руки лежали на признании, которое я должен был подписать. Красивые руки с маникюром, белее бумаги, на которой они покоились. Откуда он их взял? Они не могли по праву принадлежать ему.

— Если вы говорите мне правду...

— Верьте мне.

— Тогда вам придется подождать меня здесь.

Он встал, вышел и запер за собой дверь. Я остался в уютной комнате. Здесь пахло табаком и кожей, на столе стоял бюст Цезаря, на подоконнике — рваное сердце.

Вечером пришла Вилланель. Одна, поскольку ее уже защищало богатство. С кувшином вина, буханкой свежего хлеба и корзиной с сырыми сардинами. Мы сели на пол, как дети, которых дядя по ошибке оставил в своем кабинете.

— Что ты наделал? — спросила она.

— Сказал правду, вот и все.

— Анри, я ума не приложу, что будет дальше. Этот адвокат — его зовут Пьеро — считает тебя сумасшедшим и будет настаивать на проверке. Я не могу купить его. Он был другом моего мужа. Он по-прежнему считает меня виновной, и никакие рыжие волосы на свете, никакие мои деньги не помешают ему навредить тебе. Он ненавидит ради самой ненависти. Есть такие люди. Люди, у которых есть все. Деньги, власть, женщины. А когда они получают все, то начинают ставить на кон большее, чем простые смертные. Этого человека ничто не волнует. Он не радуется рассвету. Никогда не потеряется в незнакомом городе и не станет спрашивать дорогу. Я не могу купить его. Я не могу соблазнить его. Он хочет жизнь за жизнь. Твою или мою. Пусть это буду я.

— Ты не убивала. Это я убил его. И не жалею.

— Я бы сделала то же самое. Неважно, чья рука держала нож. Ты убил его ради меня.

— Нет, ради себя. Он осквернял все, к чему прикасался.

Она взяла меня за руки. От нас обоих пахло рыбой.

— Анри, если тебя признают невменяемым, то либо повесят, либо отправят в Сан-Сервело. В сумасшедший дом на острове.

— Тот, что ты мне показывала? Он смотрит на лагуну и не отражает света?

Она кивнула, и я задумался: неужели у меня снова будет свой дом?

— Вилланель, что ты будешь делать?

— С деньгами? Куплю дом. Я уже наскиталась по свету. Найду способ освободить тебя. Конечно, если ты выберешь жизнь.

— А разве выбор за мной?

— Это я смогу себе позволить. Приговор будет выносить не Пьеро, а судья.

Стемнело. Она зажгла свечи и привлекла меня к себе. Я положил голову ей на грудь и услышал стук — такой ровный, словно ее сердце никогда не покидало своего места. Прежде я лежал так только с матерью. Мать прижимала меня к груди и шептала на ухо стихи Священного Писания. Надеялась, что так я лучше их запомню, но я не слышал ничего — лишь потрескивал огонь, да свистел пар из кастрюльки, в которой она грела для отца воду. Я слышал лишь стук ее сердца и ощущал лишь мягкость ее тела.

— Я люблю тебя, — повторял я — и тогда, и теперь.

Мы следили, как свечи отбрасывают на потолок разрастающиеся тени, а небо чернеет. В кабинете Пьеро стояла пальма (несомненно, отобранная у подбострастного изгнанника), и тень этой пальмы на потолке казалась джунглями, мешаниной листьев, в которых мог скрываться тигр. У стоявшего на столе Цезаря был благородный профиль, а треугольника моего видно уже не было. В комнате пахло рыбой и свечным воском. Мы еще немного полежали на полу. Наконец я спросил:

— Ну что, теперь ты поняла, почему я люблю лежать неподвижно и смотреть в небо?

— Я неподвижна, лишь когда несчастна. Не смею пошевелиться, потому что так скорее придет новый день. Воображаю, что если я буду лежать неподвижно, то страшного не случится. В нашу с ней последнюю ночь, девятую, она спала, а я пыталась не двигаться вообще. Я слышала, что далеко на севере есть холодные снежные пустыни, где ночь тянется полгода, и надеялась, что произойдет обыкновенное чудо и мы окажемся там. Интересно, время пройдет, если я не пропущу его?

В ту ночь мы не занимались любовью. Наши тела были слишком тяжелы.

На следующий день я предстал перед судом, и все вышло так, как предсказала Вилланель. Меня признали неменяемым и приговорили к пожизненному заключению в Сан-Сервело. Пьеро выглядел разочарованным, но мы с Вилланелью на него не смотрели.

— Я буду навещать тебя раз в неделю и сделаю все, чтобы выволить тебя оттуда. Подкупить можно кого угодно. Мужайся, Анри. Мы прошли пешком от самой Москвы. Мы умеем ходить по воде.

— Ты умеешь.

— Нет, мы умеем. — Она обняла меня и пообещала прийти к лагуне еще до отплытия скорбной лодки. Вещей у меня было немного, но я хотел взять с собой талисман Домино и портрет Мадонны, которые мне вышила ее мать.

Сан-Сервело. Когда-то он был предназначен лишь для богатых сумасшедших, но Бонапарт, стремившийся к равенству, по крайней мере, среди безумцев, открыл его для публики и выделил деньги на его содержание. Здесь виднелись остатки прежней роскоши. Богатым и безумным дороги их маленькие радости. Тут были просторные комнаты для посетителей, где благородная дама могла выпить чаю, пока ее сын сидел напротив в смиренной рубашке. Здешние сторожа некогда носили форму и до блеска драили себе сапоги. Если какой-нибудь больной пускал на эти сапоги слюни, его на неделю сажали в карцер. Слюни пускали немногие. Здесь имелся сад, за которым больше никто не ухаживал, — акр каменистой почвы с чахлыми цветами. В здании было два крыла: одно — для остатков богатых безумцев, второе — для бедных безумцев, число которых непрерывно возрастало. Вилланель хотела отправить меня в первое, но я решил, что это слишком дорого, и отказался.

Теперь я все равно предпочитаю общество обычных людей.

У англичан король безумен, но никто ведь не сажает его под замок.

Георг III, который обращается к верхней палате парламента: «Милорды и павлины».

Кто поймет англичан и их причуды?

Я не боялся оказаться в такой странной компании.

Испугался только, когда начал слышать голоса мертвецов, а вслед за голосами по коридорам стали ходить сами мертвецы — и следить за мной пустыми глазницами.

Когда Вилланель приходила в самом начале, мы говорили о Венеции, о жизни, и ее переполняла надежда. Но потом я рассказал ей о голосах и руках повара, сжимающих мое горло.

— Анри, это тебе только кажется. Держись, скоро ты выйдешь на свободу. Никаких голосов нет. И мертвецов тоже.

Но они есть. Под каждым камнем, на каждом подоконнике. Звучат их голоса, и я обязан их слышать.

Когда Анри увезли в Сан-Сервело на скорбной лодке, я стала ломать голову, как его поскорее вызволить оттуда. Попыталась выяснить, какого рода сумасшедших там держат и осматривают ли их врачи. А вдруг им станет лучше? Оказалось, что осматривают, но выпускают только тех, кто не представляет угрозы для окружающих. Какая чушь — по земле разгуливает множество людей, представляющих угрозу для окружающих, и никто их не осматривает. Анри осужден пожизненно. Законных способов освободить его не существует. Во всяком случае, пока к этому имеет касательство Пьеро.

Что ж, придется помочь ему бежать и проследить, чтобы он добрался до Франции целым и невредимым.

В первые месяцы заключения он казался веселым и жизнерадостным, хотя спал в одной палате с тремя мужчинами — жуткими на вид и с ужасными привычками. Он говорил, что не замечает их. Говорил, что ведет дневник и очень этим занят. Наверно, признаки перемены появились намного раньше, чем я их заметила, но в моей жизни произошел крутой поворот и я была не слишком внимательна.

Не знаю, какое безумие заставило меня поселиться напротив ее дома. Я купила такой же шестизэтажный особняк с большими окнами, пропускавшими столько солнечного света, что он лужицами скапливался на полу. Я ходила по комнатам, даже не собираясь их обставлять, заглядывала в ее кабинет, гостиную, мастерскую, но видела лишь гобелен с моим изображением. Тогда я была моложе и одевалась дерзким мальчишкой.

Однажды я выбивала ковер на балконе и наконец увидела ее.

Она тоже меня увидела, и мы застыли на месте, как статуи, — каждая на своем балконе. Я уронила ковер в канал.

— Ты моя соседка, — сказала она, — и должна нанести мне визит. — Мы договорились, что я сделаю это в тот же вечер, перед ужином.

Прошло больше восьми лет, но стучалась в ее дверь я отнюдь не богатой наследницей, пешком пришедшей из Москвы и увидевшей смерть своего мужа. Я снова была девушкой из Игорного дома, облаченной в краденую форму. Я инстинктивно прижала руку к сердцу.

— Ты повзрослела, — сказала она.

А она осталась такой же, хотя снегу запорошил ей волосы. Прежде она не позволяла ему. Мы сели ужинать за овальный стол — как и раньше, бок о бок, и между нами стояла лишь бутылка вина. Говорить было нелегко, впрочем — как и прежде. Мы либо занимались любовью, либо боялись, что нас подслушают. Почему мне казалось, что все должно измениться, раз прошло столько лет?

Где сегодня ее муж?

Он оставил ее.

Не ради другой женщины. Других женщин он не замечал. Оставил ее совсем недавно, чтобы дальше искать свой Святой Грааль. Он верил в точность своей карты. Верил в существование идеального сокровища.

— Он вернется?

— Может, да, может, нет.

Роковая карта. Непредсказуемая дикая карта, которая приходит, когда ее не ждут. Что было бы, выпади она мне на несколько лет раньше? Я смотрела на свои ладони, пытаюсь увидеть другую жизнь. Параллельную. Точку, в которой я раздвоилась, и первое «я» вышло замуж за толстяка, а второе осталось здесь, в этом элегантном доме, чтобы каждый вечер обедать за овальным столом.

Не тем ли объясняется чувство, когда мы встречаемся с кем-то незнакомым и сразу понимаем, что знали его всю жизнь? Что нам известны все его привычки? Может, наши жизни распахиваются, как веер; мы знаем только одну жизнь, но иногда по ошибке ощущаем другие.

Когда я встретила ее, то сразу поняла, что она моя судьба. Это чувство не изменилось, хотя остается невидимым. Да, я уезжала за тридевять земель и любила других, и все же нельзя сказать, что я оставляла ее. Иногда я пила кофе с друзьями или в одиночку шла по слишком соленым водам

— и оказывалась в другой жизни, прикасалась к ней и видела ее так же ясно, как свою собственную. А если бы в пору нашего первого знакомства она жила в этом элегантном доме одна? Наверное, я бы никогда не осознала других своих жизней; они были бы мне не нужны.

— Ты останешься? — спросила она.

Нет, не в этой жизни. Не сейчас. Страсти нельзя приказывать. Страсть не похожа на доброго джинна из бутылки, готового даром выполнить три наших желания. Страсть приказывает сама и очень редко — так, как предпочли бы мы сами.

Я злилась. Каким бы ни был человек, в которого вы влюбились с первого взгляда — не полюбили, а именно влюбились — вы всегда будете злиться на него, потому что он лишает вас способности мыслить логично. Вы можете поселиться в другом месте, можете быть счастливы, но тот, кто забрал ваше сердце, всегда будет властвовать над вами.

Я злилась, потому что она желала меня и заставляла меня желать ее. Потому что я боялась того, что это означало. А означало оно нечто большее, чем краткие встречи в людных местах и украденные у кого-то ночи. Страсть будет семь лет трудиться в полях ради любимого еще семь лет пахать за бесценок, но страсть горда и не станет питаться чужими объедками.

У меня были романы, будут и другие, но страсть — это для фанатиков.

Она снова спросила:

— Ты останешься?

Когда впервые познаешь страсть на склоне лет, расстаться с ней куда труднее. Тем, кто встретил это чудовище слишком поздно, предлагается дьявольский выбор. Сумеют ли они сказать «прощай» всему, что знали, и выйти под парусом в незнакомое море, где может и не встретиться земли? Сумеют ли отречься от простых вещей, что делают жизнь сносной, и отвергнуть чувства старых друзей, а то и возлюбленных? Иными словами, смогут ли они вести себя так, словно стали на двадцать лет моложе, а за горизонтом их ждет земля обетованная?

Вряд ли.

А если смогут, то стоит кораблю удалиться от берега, их придется привязать к мачте, потому что зов сирен страшен, и они могут сойти с ума, думая о том, что потеряли.

Таков один выбор.

Другой состоит в том, чтобы научиться обманывать; делать то, что мы делали девять ночей подряд. Скоро у вас устанут руки, если не сердце.

Два.

Третий заключается в отказе от страсти. Разумный человек не станет держать в доме леопарда, каким бы ручным тот ни казался. Вы можете решить, что сумеете прокормить его, а ваш сад достаточно велик, но в глубине души будете знать, что ни один леопард не удовлетворится тем, что имеет. На смену девяти ночам должны будут прийти десять, а каждая безумная встреча заставит вас еще сильнее желать новой. Любви никогда не хватает еды и сада.

Поэтому вы отказываетесь, а потом узнаете, что в вашем доме поселился призрак леопарда.

Когда страсть приходит на склоне лет, ее трудно выдержать.

Еще одна ночь. Как заманчиво. Как невинно. Конечно, я могу остаться, не правда ли? Подумаешь, всего одна ночь, какая разница? Нет. Если я почувствую запах ее кожи, снова прикоснусь к ее обнаженному телу, она протянет руку и вынет мое сердце, как яйцо из птичьего гнезда. Мое сердце не успело обрасти ракушками, и я не сумею избежать ее. Если я дам волю страсти, моя настоящая жизнь, жизнь из плоти и крови, которую я знаю лучше всего, исчезнет и я стану снова питаться тенями, как те печальные духи, от которых бежал Орфей.

Я пожелала ей спокойной ночи, слегка прикоснулась к ее руке и возблагодарила темноту за то, что не увидела ее глаз. В ту ночь я не спала, а бродила по темным закоулкам, надеясь, что прохладные стены и мерный звук приборя помогут мне успокоиться. Утром я заперла двери своего дома и больше туда не вернулась.

А что было с Анри?

Я уже говорила, что первые несколько месяцев считала его прежним. Он попросил привезти ему письменные принадлежности и, казалось, задался целью заново воссоздать годы после ухода из

дома, время, проведенное со мной. Я знаю, он любит меня. Я тоже люблю его, но братской, кровосмесительной любовью. Он трогает мое сердце, однако не заставляет его разлетаться на куски. Он не мог бы украсть его. Думаю, для него все сложилось бы иначе, если бы мне удалось ответить на его страсть. Этого еще не сделал никто, а сердце Анри слишком велико для его костлявой груди. Кто-то должен был взять это сердце и дать ему покой. Он часто говорил, что любит Бонапарта, и я верю ему. Бонапарт, колоссальный император, призвал его в Париж, протянул руку к Ла-Маншу и заставил Анри и тех простых солдат почувствовать, что Англия принадлежит им.

Я слышала: едва открыв глаза, утенок привязывается к первому существу, которое видит, и не всегда это бывает утка. Именно так случилось с Анри; он открыл глаза и увидел Бонапарта.

Вот почему он так ненавидит его. Он разочаровался в нем. Страсть не любит разочарований.

Самое унижительное на свете — понимание, что страсть твоя того не стоила.

Анри — мягкий человек. Мог ли он повредиться в рассудке, убив повара? На пути из Москвы он рассказывал, что за восемь лет военной службы никому не причинил вреда. Восемь лет сражений, а самый худший его проступок заключался в том, что он сбился со счета, убивая кур.

Но он не был трусом. Патрик говорил, что Анри много раз рисковал жизнью, вытаскивая из-под огня раненых.

Анри...

Сейчас я не навещаю его, но каждый день машу ему рукой, проплывая мимо в одно и то же время.

Когда он сказал, что слышит голоса — матери, повара, Патрика, — я попыталась убедить его, что никаких голосов нет, а есть лишь те, что мы творим сами. Я знаю: иногда мертвые вопиют, — но знаю я и то, что мертвые жаждут внимания. Я убеждала его прогнать их и сосредоточиться на себе. В сумасшедшем доме нужно беречь рассудок.

Он перестал рассказывать мне о голосах, но от сторожей я слышала, что каждую ночь он просыпался с криком от того, что хватал себя за горло, готовый удавиться. Это беспокоило соседей, и Анри перевели в одиночку. После этого он стал намного спокойнее и начал писать при лампе, которую я тоже ему привезла. В то время я еще не оставила планов его освобождения, я была уверена, что смогу это сделать. Я познакомилась со сторожами и думала, что сумею выкупить его деньгами и любовью. Мои рыжие волосы притягивали всех. В те дни я еще спала с ним. У него было стройное мальчишеское тело, оно лежало на мне, как свет на листе бумаги, и поскольку я сама учила его любить меня, ему хорошо это удавалось. Он совершенно не знал, как в таких случаях поступают другие мужчины, не понимал, что совершает его собственное тело, пока я не показывала ему. Он дарил мне наслаждение, но когда я следила за его лицом, то видела, что для него это — нечто большее. Если меня это тревожило, я отмахивалась от таких мыслей. Со временем я научилась отыскивать наслаждение и не интересоваться, в чем.

А потом случились две вещи.

Я сказала ему, что беременна.

И сказала, что через месяц он будет свободен.

— Тогда мы сможем пожениться.

— Нет.

Я взяла его за руки и попыталась объяснить, что не выйду замуж во второй раз, что он не сможет жить в Венеции, а я не смогу жить во Франции.

— А что будет с ребенком? Как я узнаю о ребенке?

— Когда все успокоится, я привезу тебе ребенка, а ты сможешь приехать сюда. Я что-нибудь придумаю. Может, отравлю Пьеро. Мы найдем способ. Но ты должен вернуться домой.

Он промолчал, а когда мы кончили заниматься любовью, взял меня за горло и медленно высунул язык, похожий на розового червяка.

— Я твой муж, — сказал он.

— Перестань, Анри.

— Я твой муж, — повторил он и потянулся ко мне. Его остекленевшие глаза были круглыми, а язык розовым.

Я оттолкнула его; он скорчился в углу и заплакал.

Он не позволил мне утешить его, и с тех пор мы больше не занимались любовью.

Не из-за меня.

Наступил день его побега. Я примчалась за ним, перепрыгивая через две ступеньки, и, как обычно, открыла дверь своим ключом.

— Анри, ты свободен. Пойдем отсюда.
Он уставился на меня.
— Здесь был Патрик. Вы с ним разминулись.
— Идем, Анри. — Я заставила его встать на ноги и потрясла за плечи. — Мы уходим. Посмотри в окно, там наша лодка. Это парадная гондола, я снова развела хитрого епископа.
— До воды далеко, — сказал он.
— Тебе не придется прыгать.
— Не придется?
Его глаза стали тревожными.
— А мы успеем спуститься по лестнице? Он не схватит нас?
— Никто нас не схватит. Я подкупила сторожей, сейчас мы уйдем отсюда, и ты больше никогда не увидишь это место.
— Это мой дом. Я не могу уйти. Что скажет мама?
Я сняла руки с плеч Анри и взяла его за подбородок.
— Анри. Мы уходим. Пойдем со мной.
Но он не шел.
Ни через час, ни через два, ни на следующий день. А потом я уплыла. Одна. Он даже не подошел к окну.

— Вернись за ним, — сказала моя мать. — В следующий раз он поведет себя по-другому.

Я вернулась за ним. Точнее, вернулась в Сан-Сервело. Вежливый сторож из отделения для богатых выпил со мной чаю и сказал мягко, как мог, что Анри больше не хочет меня видеть. Наотрез отказался.

— Что с ним случилось?

Сторож пожал плечами; так в Венеции говорят все и ничего.

Я возвращалась десятки раз. Вежливый сторож, который хотел стать моим любовником, но так и не стал им, пил со мною чай, а потом давал все тот же ответ: он не хочет меня видеть.

С тех пор прошло много времени. Я вывела лодку в лагуну, бросила весла, и течение принесло меня к его одинокой скале. Я увидела, что Анри высунулся из окна, и помахала ему рукой. Он помахал в ответ, и я подумала, что он захочет меня увидеть. Но он не захотел. Не захотел увидеть меня, ни ребенка. Девочку с копной волос цвета рассветного солнца и ножками, как у Анри.

Теперь я проплываю мимо каждый день, он машет мне рукой, но мои письма возвращаются нераспечатанными, и я знаю, что потеряла его.

Наверное, он и сам себя потерял.

Если говорить обо мне, то я по-прежнему греюсь в церкви зимой и на гребнях теплых стен летом, моя дочь умница и обожает следить за тем, как падают кости и ложатся карты. Я не могу спасти ее ни от дамы пик, ни от какой-нибудь другой карты; когда придет время, она вытянет свою судьбу и проиграет сердце. Девушке с огненными волосами ничего другого не остается. Я живу одна. Так лучше, хотя мои ночи не всегда одиноки. Все чаще хожу в Игорный дом, чтобы увидеться со старыми друзьями и бросить взгляд на стеклянный ящичек с двумя белыми руками — он по-прежнему висит на стене.

Неслыханно ценная вещь.

Я больше не переодеваюсь. Никакой краденой формы. И лишь изредка чувствую касание той, другой жизни — жизни в тени, от которой я отказалась.

Это город масок. Сегодня ты один, а завтра другой. Вчерашний наряд стал тебе узок. Ты можешь искать себя сколько угодно; если у тебя есть ум или деньги, никто не будет тебе мешать. Этот город построили на уме и деньгах, и мы питаем слабость к тому и другому, хотя они не всегда идут рука об руку.

Я беру лодку, выхожу в лагуну, слушаю крики чаек и думаю о том, где окажусь, скажем, лет через восемь. В той же нежной темноте, которая скрывает будущее от слишком любопытных. Я утешаю себя, что окажусь не там, где я сейчас. Внутренние города обширны, но их нет ни на одной карте.

А что делать с неслыханно ценной вещью?

Теперь, когда она снова вернулась ко мне? Теперь, когда я получила отсрочку, которую могут предложить лишь рассказы и байки?

Рискну ли я поставить ее на кон еще раз?

Да.

*Après moi, le deluge*⁷.

Это неверно. Были утонувшие, но кое-кто утонул и раньше.

Он переоценил себя.

Странно, что со временем человек начинает верить в мифы собственного сочинения.

На этой скале меня почти не трогает то, что происходит во Франции. Какая мне разница, если я — дома, спокойно живу с матерью и друзьями?

Я обрадовался, когда его сослали на Эльбу. Быстрая смерть сразу бы сделала его героем. Не то, что просачивающиеся донесения о том, что он прибавляет в весе и пребывает в паршивом настроении. Эти русские и англичане не дураки — они не стали причинять ему вред. Просто унизили, и все.

Теперь, после смерти, он снова становится героем, но это никого не волнует, потому что он уже не может повторить сделанного.

Я устал раз за разом выслушивать его биографию. Он приходит сюда, такой же маленький, каким был при жизни, и переворачивает мою комнату вверх дном. По-настоящему и радуюсь ему, только когда у меня в комнате сидит повар. Повар боится его и тут же уходит.

Каждый из них оставляет здесь свой запах; Бонапарт пахнет курами.

Я продолжаю получать письма от Вилланели. Отсылаю их обратно нераспечатанными и никогда не отвечаю. Не потому, что не хочу думать о ней. Я каждый день смотрю в окно и разыскиваю ее взглядом. Но я должен отводить ее, потому что от нее мне слишком больно.

Когда-то — наверное, несколько лет назад — она пыталась заставить меня покинуть это место, но не для того, чтоб я остался с ней. Она хотела, чтобы я снова оказался в одиночестве, как раз когда я почувствовал себя покойно. Я не хочу больше одиночества, но и на мир я уже насмотрелся.

Внутренние города обширны, но их нет ни на одной карте.

Она пришла в день смерти Домино, но я не видел его. Он сюда не приходит.

Утром я проснулся и, как обычно, пересчитал все, чем владею: Мадонна, мои тетради, этот рассказ, моя лампа и фитили, мои перья и мой талисман.

Мой талисман растаял. В лужице осталась только блестящая золотая цепочка.

Я поднял цепочку, накрутил ее на пальцы, растянул и стал следить, как она соскальзывает с них змеей. И тут я понял, что он умер, хотя не знал, как и где это случилось. Я надел цепочку на шею. Я был уверен, что она заметит ее, когда придет, но она не заметила. У нее блестели глаза, а руки звали убежать с нею. Я уже убежал с нею, пришел в ее дом, как изгнанник, и остался у нее ради любви. Дураки всегда остаются ради любви. Я дурак. Я восемь лет торчал в армии, потому что кого-то любил. С другого было бы довольно. Но я оставался еще и потому, что мне некуда было идти.

Здесь я остаюсь по собственному выбору.

Это очень много для меня значит.

Кажется, она думала, что мы сможем добраться до лодки, и нас никто не схватит. Она что, сумасшедшая? Мне бы снова пришлось убивать. Я не смог бы сделать этого. Даже ради нее.

Она сказала, что родит ребенка, но не захотела выйти за меня замуж.

Неужели такое возможно?

Я хочу жениться на ней, а ее ребенка у меня не будет.

Нет, проще не видеть ее. Я не всегда машу ей рукой. У меня есть зеркало. Когда она проплывает мимо, я отхожу от окна. Если светит солнце, я вижу в зеркале проблеск ее волос. От него солома на полу начинает светиться: наверное, так выглядели ясли, в которых лежал Христос, — величественно, скромно и очень необычно.

Иногда с ней в лодке сидит ребенок; должно быть, это наша дочь. Интересно, какие у нее ступни.

Если не считать моих старых друзей, я здесь ни с кем не разговариваю. Не потому, что они

⁷ «После меня хоть потоп» (*фр.*). Фраза, приписываемая французскому королю Людовику XIV. — *Прим. пер.*

сумасшедшие, а я нет, а потому что они быстро отвлекаются. Трудно заставить их сосредоточиться на чем-то одном, но если мне удастся добиться своего, это не всегда то, что меня сильно интересует.

Что меня интересует?

Страсть. Одержимость.

Я познал и то, и другое, и мне известно, что грань между ними тонка и жестока, как венецианский стилет.

Когда мы в ту лютую зиму шли пешком из Москвы, я верил, что иду туда, где лучше. Верил, что поступил правильно, оставив позади все грустные и мерзкие вещи, которые так долго мучили меня. У каждого из нас есть свобода воли, говорил мой друг-кюре. Воли что-то изменить. Я не слишком верю в гадания и ворожбу. Я не Вилланель, я не вижу ни скрытых миров у себя на ладони, ни будущего в туманном шаре. Но как быть с цыганкой, что перехватила меня в Австрии, перекрестила мне лоб и сказала: «Скорбь в деяниях твоих и одинокое место»?

Что ж, скорби в моих деяниях хватало, а если бы не мама и друзья, это место было бы самым одиноким на свете.

За моим окном кричат чайки. Раньше я завидовал их свободе, завидовал чайкам и полям, что тянутся вдаль, отмеряя расстояния — одно за другим. Всему естественному уютно на своем месте. Я думал, солдатская форма сделает меня свободным, потому что солдат любят и почитают, они знают, что случится завтра, и неопределенность их не мучает. Думал, что делаю благое дело, освобождая мир и в то же время освобождаясь сам. Миновали годы, я преодолел расстояния, которые не может представить себе ни один крестьянин, и обнаружил, что воздух во всех странах одинаков.

Все поля сражений похожи друг на друга.

О свободе слишком много говорят. Она похожа на Святой Грааль. Мы вырастем, слыша о нем, он существует, мы уверены в этом, но у каждого — свое представление, где его искать.

Хотя в моем друге-кюре было слишком много мирского, он нашел свою свободу в Боге. Патрик находил ее в смятенном разуме, где водил дружбу с гоблинами. Домино говорил, что она — в настоящем, в том единственном мгновении, когда можешь быть свободным, но он редок и неожидан.

Бонапарт учил, что свобода лежит на остриях пик его солдат, но в легендах о Святом Граале никто не завоевывал сокровище силой. Однажды добродетельный рыцарь Персиваль пришел к разрушенной часовне и нашел то, чего не заметили другие, просто посидев на месте. Теперь я думаю, что свободный человек — не тот, кто могуществен, богат, уважаем или свободен от обязательств, но тот, кто способен любить. Любить кого-то так, чтобы забыть о себе хотя бы на миг, — вот что такое свобода. Мистики и церковники говорят, что для этого нужно забыть о своем теле и его желаниях и перестать быть рабом собственной плоти. Но умалчивают, что мы можем стать свободными только через плоть. Что страстная любовь к другому человеку возвышает нас куда надежнее любого божества.

Мы пресные люди, и наше стремление к свободе — это стремление к любви. Если бы нам хватило смелости любить, мы бы не так ценили войну.

За моим окном кричат чайки. Мне нужно накормить их. Я оставил кусок хлеба от завтрака, чтобы отдать им.

Говорят, что любовь поработает, а страсть — это демон, и что многие люди неспособны любить. Я знаю, это правда, но знаю и то, что без любви мы бредем по темным тоннелям жизни ощупью и никогда не видим солнца. Когда я полюбил, то словно впервые посмотрел в зеркало и увидел себя. Я безмерно удивился, подняв руку и коснувшись своих щек, шеи. Это был я. А когда я рассмотрел себя и привык к мысли о том, что это я, то уже не боялся ненавидеть свои недостатки, потому что захотел быть достойным того, кто держал зеркало.

Впервые увидев себя, я увидел мир и понял, что он разнообразнее и прекраснее, чем мне казалось. Как большинство людей, я радовался теплоту вечеру, запаху пищи и птицам, стрелой взмывавшим в небо, но я не был ни мистиком, ни церковником и не ощущал экстаза, о котором читал в книгах. Я тосковал по чувству, однако не мог ничего высказать. Мы постигаем слова «страсть» и «экстаз», но они остаются плоскими на страницах. Иногда мы пытаемся эти страницы перевернуть и прочесть, что написано на другой стороне. После этого каждый может рассказать о женщине, борделе, опиумной ночи или войне. Мы боимся. Боимся страсти и потому смеемся над слишком сильной любовью и слишком пылкими любовниками.

Но все равно мы жаждем чувствовать.

Я начал ухаживать за здешним садом. Никто не прикасался к нему много лет, но мне говорили, что когда-то здесь росли прекрасные розы с таким сильным ароматом, что при попутном ветре его доносило до площади Святого Марка. Сейчас они превратились в непроходимые колючие заросли.

Птицы не вьют в них гнезд. Это негостеприимное место; почва засолилась, и я не знаю, что будет на ней расти.

Я мечтаю об одуванчиках.

Мечтаю о безбрежном поле, на котором цветы растут так, как им хочется. Сегодня я раскопал сад камней, а потом снова зарыл его и разровнял почву. Кому нужен сад камней на скале? Хватит с нас скал.

Я напишу Вилланели и попрошу немного семян.

Странно думать: не разведись Бонапарт с Жозефиной, во Франции не появилась бы герань. При нем Жозефина не могла развить свой несомненный талант ботаника. Говорят, она уже вывела у нас больше сотни разных растений, и если ее попросить, она может прислать семена даром.

Я напишу Жозефине и попрошу у нее немного семян.

Мама сушила на крыше маки и на Рождество составляла из цветочных головок сцены из Библии. Я занимаюсь садом отчасти ради нее; она говорит, что здесь слишком голо и нет ничего, кроме моря.

Я хочу вырастить немного травы для Патрика и поставить памятник Домино; ничего особенного — просто камень в теплом месте. Бедняга так настрадался от холода...

А себе?

Себе я посажу кипарис, и он переживет меня. Вот почему я так тоскую по полям; будущее мне нужно не меньше настоящего. В один прекрасный день посаженное неожиданно пробьется наружу: корень или дерево. То же происходит, когда ищешь иной путь и начинаешь думать о ком-то другом. Мне нравится знать, что жизнь переживет меня. Бонапарт никогда не понимал этого счастья.

Здесь есть птичка — маленькая птичка, у которой нет матери. Я занимаю ее место; птичка садится ко мне на шею, за ухом, и греется. Я кормлю ее молоком и червяками, которых выкапываю из земли, стоя на четвереньках. Вчера она впервые полетела. Оторвалась от земли, которую я копал, и села на терновник. Потом запела, и я вытянул палец, чтобы отнести ее домой. Ночью она спит в моей комнате, в коробке для воротничков. Я не стану давать ей имя. Я не Адам.

Нет, это не скучное место. Вилланель, у которой талант смотреть на все как минимум дважды, научила меня отыскивать радость в самых неожиданных местах и удивляться самым обычным вещам. Чтобы поднять настроение, она может просто сказать: «Посмотри-ка сюда». Всегда что-то очень простое, но пробудившееся к жизни. Она умеет очаровывать даже торговку рыбой.

По утрам я выхожу из своей комнаты и не торопясь иду в сад — ошупываю стены руками, наслаждаюсь их поверхностью, изучаю строение. Я дышу осторожно, нюхаю воздух, а когда восходит солнце, поворачиваюсь к нему и подставляю лицо первому рассветному лучу.

Однажды ночью я голый танцевал под дождем. Раньше я никогда этого не делал, а потому не знал, что ледяные капли стрелами вонзаются в кожу и заставляют ее молодеть. В армии я промокал до нитки тысячи раз, но то было не по собственному желанию.

Мокнуть по собственному желанию — совсем другое дело, хотя местные сторожа так не думают. Грозят отобрать у меня птичку.

Хотя у меня есть заступ и вилы, в саду я чаще копаю землю руками. Конечно, если не слишком холодно. Мне нравится ощущать землю, крепко сжимать ее в горсти или крошить между пальцев.

Здесь можно любить не торопясь.

Человек, который ходит по воде, просил меня вырыть в саду пруд, чтобы ему было где тренироваться.

Он англичанин. Чего еще от него ждать?

Тут есть сторож, которому я нравлюсь. Я не спрашиваю, почему. Я научился принимать любовь, не требуя объяснений. Когда этот человек видит, что я стою на четвереньках и скребу землю руками в случайных с виду, однако научно обоснованных местах, он расстраивается, спешит ко мне с заступом и предлагает помочь. Почему-то ему очень хочется, чтобы я пользовался заступом.

Он не понимает, что я хочу свободы совершать собственные ошибки.

— Анри, если тебя будут считать сумасшедшим, ты никогда не выйдешь отсюда. — С какой стати я должен хотеть отсюда выйти? Им самим не терпится уйти, вот они и не замечают того, что здесь. Когда дневные сторожа садятся в свои лодки, я даже не смотрю в их сторону. Думаю о том, куда они ходят и на что похожа их жизнь, но я никогда не поменялся бы с ними местами. Их лица остаются серыми и унылыми даже в солнечные дни, когда ветер хлещет скалу для собственного удовольствия.

Куда я пойду? У меня есть комната, сад, компания и досуг. Что еще нужно человеку?

А любовь?

Я по-прежнему влюблен в нее. Едва занимается день, я думаю о ней, а когда зимой краснеет кизил, я протягиваю к нему руки и вижу ее волосы.

Я люблю ее. Не фантазию, не миф и не мое собственное творенье.
Ее. Человека, который не я. Бонапарта я придумал так же, как он сам придумал себя.
Моя страсть, хоть она так и не смогла ответить на нее, помогла мне понять разницу между изобретением возлюбленной и подлинной влюбленностью.
Изобретают-то для себя, а влюбляются в кого-то другого.

Я получил письмо от Жозефины. Она помнит меня и хочет навестить, но я думаю, что это невозможно. Адрес ничуть не встревожил ее; она вложила в письмо семена многих видов растений, причем некоторые можно вырастить только в оранжерее. У меня есть инструкции и даже иллюстрации; правда, я не знаю, как быть с бабабом. Кажется, он растет корнями вверх.

Если так, то тут для него самое подходящее место.

Говорят, когда во время Террора Жозефина сидела в зловонной тюрьме Карм и ждала смерти, она и другие дамы с сильным характером выращивали сорняки и лишайники, что росли на камнях, и сумели создать если не сад, то зеленый уголок, который утешал их. Может, это правда, а может, и нет.

Это неважно.

Важно, что это утешает меня.

Там, за лагуной, этот город безумцев готовится встречать Рождество и Новый год. Рождество здесь празднуют не так пышно, чествуют лишь Дитя, а на Новый год устраивают процессию; нарядные лодки хорошо видны из моего окна. Их огни подскакивают вверх и вниз, а вода под гондолами сияет, как масло. Я стою у окна всю ночь, слушая, как в скалах стонут мертвые, и следя за тем, как по небу движутся звезды.

В полночь из каждой церкви несется звон колоколов, а церковей здесь, по меньшей мере, сто семь. Я пытался их сосчитать, но это живой город, и никто толком не знает, сколько храмов здесь было вчера и сколько их будет завтра.

Вы мне не верите?

Приезжайте и убедитесь сами.

В Сан-Сервело тоже бывает служба, но беда в том, что большинство здешних пациентов приковано к стене цепями, а остальные так громко бормочут и суетятся, что мессы толком не слышно. В местную церковь я не хожу — там нельзя погреться. Лучше сидеть в комнате и смотреть в окно. В прошлом году Вилланель постаралась подплыть поближе и устроила фейерверк. Одна ракета взлетела так высоко, что я едва не поймал ее. На секунду мне пришло в голову, что я мог бы упасть вместе с гаснущими ракетами и еще раз прикоснуться к ней. Еще раз. Что случится, если я снова окажусь рядом с нею? Ничего. Но если я заплачу, то уже не смогу остановиться.

Сегодня я перечитал свои записи и нашел одно место:

«Я говорю, что влюблен в нее. Что это значит?

Это значит, что я вижу свое будущее и прошлое при свете этого чувства. Как будто до того писал на неведомом языке — и вдруг стал понимать написанное. Она без слов объясняет меня мне самому. И, как всякий гений, не догадывается, что делает».

Я продолжаю писать; значит, у меня всегда будет что почитать.

Ночь сегодня морозная. Земля посветлеет, а звезды станут колючими. Когда я утром пойду в сад, то увижу, что он покрылся тонкой серебряной паутиной, потрескавшейся в тех местах, которые я сегодня полил больше обычного. Так замерзает только сад; все остальное слишком соленое.

Я вижу огоньки лодок, а Патрик, который сегодня со мной, видит, что происходит в самом соборе Святого Марка. Его зрение все так же великолепно, особенно теперь, когда стены ему больше не мешают. Он описывает мне мальчиков из церковного хора, одетых в красное, епископа в пурпурно-

золотой сутане и купол, на котором изображена вечная битва между добром и злом. Расписанный купол, который я люблю.

С тех пор, как мы ходили в булонскую церковь, прошло больше двадцати лет.

В лагуну выплывают празднично освещенные лодки с позолоченными носами. Яркая лента, талисман Нового года.

На следующий год у меня будут алые розы. Целый лес алых роз.

На этой скале? В этом климате?

Я рассказываю вам байки. Верьте мне.